

# МАРФА

ЦВЕТОЧНИЦА



© Информационный портал «Русский путь»  
[www.rp-net.ru](http://www.rp-net.ru) или [русский-путь.rpф](http://русский-путь.rpф)

И не раскаялись они  
в убийствах своих,  
ни в чародействах своих,  
ни в блудодеянии своем,  
ни в воровстве своем.

ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА (9, 21)





Следственное № 197  
УРАНИТЬ П... ОЛНН

# ДЕЛО

Учен № 1962 г |

Израительской Марии Ув  
одвняемой по 58 п. 10 г. 11

**П 32455**

Начато 6 декабря дня 1941 г.

ПАВЕЛ ПРОЦЕНКО

# МАРФА ЦВЕТОЧНИЦА

**П 32455**  
Начато 6 декабря дня 1941

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

МОСКВА 2002  
РУССКИЙ ПУТЬ

ББК 63.3 (2) 6-28+63.3 (2)615-4  
П 84

Книга издана при поддержке  
Русского Общественного Фонда  
Александра Солженицына

**Проценко П. Г.**  
П 84 Цветочница Марфа: Документальная повесть. М.:  
Русский путь, 2002. 280 с., ил.

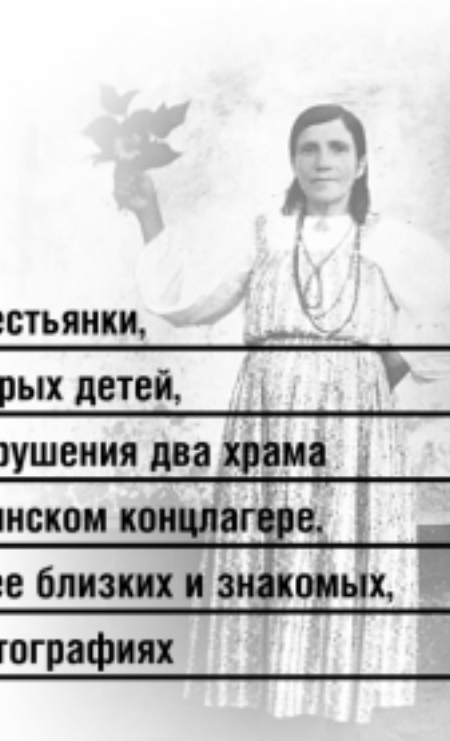
ISBN 5-85887-144-5

В книге повествуется о жизни крестьянки из Подмосквья Марфы Ивановны Кондратьевой (1891–1943), сумевшей пронести глубины своей христианской веры через годы коммунистического режима. Это трагический рассказ об одной из «народных угодников» (по слову Глеба Успенского), на которых держится самосознание нации.


Адресовано читателям, интересующимся историей русского крестьянства и Русской Православной Церкви XX в.

ISBN 5-85887-144-5

© П. Г. Проценко, текст; подбор фотоиллюстраций, 2002  
© С. Б. Трофимов, художественное оформление, 2002  
© Е. Б. Рашковский, послесловие, 2002  
© Русский путь, 2002



**Судьба русской крестьянки,  
вырастившей семерых детей,  
отстоявшей от разрушения два храма  
и погибшей в сталинском концлагере.  
В свидетельствах ее близких и знакомых,  
в документах и фотографиях**



**Полвека спустя**





*«Не забудьте меня, умирающей на чужой стороне, в глухой Сибири, в крутых горах...»*

Эти слова, прочитанные на страницах истертого временем письма, чудом дошедшего из-за колючей проволоки, всплывали со дна памяти, тогда как глаза всматривались в разворачивавшийся пейзаж.

Улица уездного городка, застроенная небольшими дощатыми домами, выглядывающими из-за нескончаемой ленты серых покосившихся заборов, незаметно переходит в узкое шоссе. Еще немного – и дорога, пересекая надвое придорожные деревеньки, вырывается в поля, обрамленные лесными полосами. Ты вдруг чувствуешь, осязаешь всем существом, как легкие наполняет не то пыльное, блеклое вещество, которым дышат жители промышленного города, а ароматный, пьянящий воздух, поднимающийся от теплой, живой земли. Конец рабочей недели, летний день клонится к вечеру, жар солнечных лучей поостыл, их розовый, пронзительно-грустный свет освещает вереницы легковых машин, мчащихся по змейкой вьющемуся асфальту. Счастливые владельцы загородных дач, обладатели сельской родни спешат отдохнуть на природе, ненадолго расслабиться, сбросив ярмо будничных обязанностей. Покопаться в огороде, соорудишь что-нибудь по хозяйству,

сходишь в лес или на речку и вроде бы как родился заново, кровь, что ли, обновилась в жилах: ты превращаешься в человека.

Идя по пустынным деревенским улочкам, глядя на копошащихся за заборами, в глубине дворов, трудолюбивых хозяев, понимаешь, что попал в край собственников, которые сейчас вынырнули на поверхность российской жизни (никуда, впрочем, из нее не деваясь и в советские годы, припрятавшись где-то в расщелинах земных до поры, до времени).

Одна особенность, однако, бросалась в глаза. Приехали мы в эту деревню не праздности ради – я сопровождал без малого восьмидесятилетнюю Ольгу Степановну в поисках места, где стоял ее отчий дом. Никто из встретившихся нам не знал ни ее родителей, ни истории, с ними случившейся 60 лет назад. Это не удивительно, во многих нынешних российских деревнях, даже не переживших немецкой оккупации и связанных с нею бедствий, население сменилось больше, чем наполовину. В основном обитают здесь или дачники, или приезжие из других краев. Заботятся о сегодняшнем дне, не задаваясь поисками следов прошлого, канувшего в Лету.

Вскоре выяснилось, что это первое впечатление не совсем верно, просто нам попадались обитатели новых, добротных домов, выросших здесь в изобилии, как и во многих сельских местностях России, в последние годы. К одному из таких строений, белевшему за железной сеткой ограды, нас подвела коренная жительница деревни, узнавшая в Ольге Степановне бывшую односельчанку.

– Вот тут была ваша усадьба, – показала она. – Все переменялось, дома старые отсюда и до самого низа

давно порушены, вместо них остался пустырь, а теперь все, начиная от этого места и до конца слободки, приезжие застроили. А уж внизу, у самого поля, настоящий дворец увидите с «тарелкой» на крыше.

Из ворот вышел хозяин в шортах, моложавый, крупный мужчина. Оказалось, он отставник, успевший в начале девяностых годов получить за выслугу лет этот участок бросовой земли бесплатно. Еще несколько домов вниз по улице принадлежат бывшим военным, превратившимся теперь – в силу принадлежности, как и во времена Империи, к воинскому сословию – в настоящих землевладельцев.

Относительно небольшие размеры двухэтажного здания, незатейливая архитектура и, главное, немодный белый кирпич, из которого сложен дом бывшего военного, подчеркивали – в сравнении с краснокаменными хоромами соседей – средний достаток хозяина. Но добротность строения и несколько автомашин, стоявших во дворе, ненавязчиво свидетельствовали о принадлежности семейства к обитателям новорусского рая, где заботы совсем иного порядка, чем у остальной деревни, занятой ежедневным добыванием хлеба насущного. И как все, принадлежащие к касте избранных, нынешние деревенские богачи смотрят на соседей настороженно, живут обособленно, замкнуто. Между ними и коренными жителями села незримо пролегал труднопреодолимый ров разобщенности и чуждости.

Впрочем, хозяин довольно любезно предложил пройти в огород, осмотреть его уголья... Но перспектива битый час изучать типовое хозяйство самодовольных представителей современного среднего класса меня не вдохновила, и мы почти сразу уехали.

## 2

Через несколько дней, пытаясь мысленно воссоздать уничтоженную, растоптанную жизнь родителей Ольги Степановны, когда-то тихо и кротко расцветавшую на том краю земли, где теперь вырос белокаменный дом отставного советского офицера, я решил все-таки воспользоваться приглашением посмотреть огород. Вернее, пройти через него к канаве, где в старину протекал ручей. Хотелось внимательнее всмотреться в ландшафт, окружавший моих героев на протяжении многих лет. Но желанию этому не суждено было осуществиться. Хозяин отсутствовал, а вместо него навстречу выскочил его сын, крепко сбитый молодой человек, державший в одной руке мелкокалиберное ружье, в другой – своеобразный букет из шомполов, на которых истекали жиром куски дымящегося шашлыка. Впрочем, основной разговор произошел с хозяйкой дома, вальяжной, округлой дамой, настроенно и односложно отвечавшей на мои вопросы. Ответы ее сводились к одному: нечего здесь смотреть и незачем. Выразительно помахивая ружьем, ее сын подытожил: хочешь посмотреть на канаву – иди другим путем, но только не через наш огород.

Уже стоя у калитки и стараясь как-то сгладить внезапность вторжения в чужую жизнь, я решил еще раз объяснить причину своего незваного появления. Вдруг глаза дамы покинула настроенность, и она перебила меня на полуслове. «Мы уже знаем, – поспешно сказала она. – Мы очень рады, что построились на этом месте». – «Чему же тут радоваться? Невинный ведь человек погиб». «Мы тому радуемся, – еще быстрее и стеснительнее проговорила хозяйка, – что о святом человеке напишут, что мы на святом месте живем».

Ей неловко было выговаривать это необычное для нее слово «святой», но и не произнести его она, очевидно, не могла. Тут же вспомнилось, как в прошлой жизни (отделенной, однако, от нынешней всего пятнадцатью-двадцатью годами), входили в мою квартиру вслед за непрошеными гостями в черных кожаных пальто и с военной выправкой блеклые, угодливо подтянутые фигурки молодых людей. Студенты юридического факультета, они были доставлены сюда для того, чтобы послушно играть роль понятых. Во время одного из многочасовых обысков я вдруг понял, что кое-кто из них стыдится отведенной роли и, краснея и преодолевая страх, старается заглянуть мне в глаза, как бы молча извиняясь. Вспомнилось, как после приговора суда меня долго вели по длинным тюремным переходам и вдруг шедший навстречу краснопогонник, дрогнув лицом и секунду колебавшись, украдкой пожал мою руку. Что стоит за подобным движением души? Его нельзя считать поступком, но этот тайный жест оставлял слабую надежду на перемены в общественном настроении.

Может быть, и новые хозяева, захватывающие жизненное пространство в России, наглухо отгородившиеся от прочих соплеменников, со временем поспособствуют восстановлению открытости в нашем народе, восприняв лучшее в его прошлом опыте, его жизненных обычаях и навыках.

Надежда на это мала. Но все равно необходимо написать о той женщине, которую 60 лет назад увели из ее избы, стоявшей на месте нынешнего белокаменного дома в деревне Зубцово Ногинского района Московской области, – увели на мучения и нескончаемые страдания.

**Крестьянское  
домостроительство**

**№ 962 г.**



### 3

Для русского крестьянства, к которому принадлежала Марфа Ивановна Кондратьева, характерны неспешность в принятии решений и устойчивость в однажды избранном пути. Не удивительно, что вся жизнь Марфы прошла в узком кругу соседствующих деревень и связана с одним приходом — преп. Сергия Радонежского<sup>1</sup>. Родилась она в 1891 году в деревне Боровково<sup>2</sup> в семье крестьян Ивана и Надежды Гараниных<sup>3</sup>, а замуж вышла в деревню Зубцово, глухой угол на стыке Владимирской и Московской губерний. В поле за околицей Боровково вьется неширокая, но глубокая речушка Дубенка. На протяжении столетий довелось ей нести межевую службу – отделять земли московских князей от владений их соперников, великих князей владимирских, а затем, уже в Империи, обозначать собой административную границу между двумя губерниями. Граница эта время от времени сдвигалась, и тогда близлежащие деревни попадали то в один уезд (Киржачский), то в другой (Александровский). В год рождения Марфы ее малая родина числилась за Киржачским уездом Владимирской губернии. С 1930 года весь куст деревень, входивших в приход, окончательно отошел к Московской области, и нынче лишь широкое заливное поле отделяет деревню Зубцово от Владимирской земли.

Московский берег реки с конца XVIII столетия принадлежал Богородскому уезду. Как в Киржачском, так и



1

в обширном Богородском уезде крестьяне испокон веку занимались не только сельскими работами, но и ткачеством на дому, выполняя заказы местного фабриканта или подрядчика. Чуть ли не в каждой избе стоял ткацкий стан, чуть ли не в каждой деревне имелась одна или даже несколько светелок – деревянных одноэтажных строений с большими окнами и рядом деревянных же станков, на которых (в основном в осенне-зимнее время) производили плюш или шелк<sup>4</sup>.

В доме у Гараниных имелся свой стан, а хозяин, Иван Никитич, работал красильщиком на местной ткацкой фабричке Кузнецова и слыл первым, лучшим, мастером своего дела. (Родом из села Филипповское Владимирской губернии он, женившись, переехал в дом своей супруги.)<sup>5</sup> Небольшого роста, добросердечный, работающий и немногословный, «ласковый», по воспоминаниям внуки, он не терпел ругани и уже в пожилом возрасте, когда слышал, что на улице бранятся, выходил за ворота и начинал громко петь.

Изба Гараниных, которой не менее 150 лет<sup>6</sup>, до сих пор стоит в центре Боровково. В крытом дворе держали, конечно, корову и лошадь, без которых немислимой считалась нормальная крестьянская жизнь.

«В хозяйстве отец имел *один* дом, *одну* лошадь и *одну* корову», – читаем в краткой автобиографии его дочери, вынужденно продиктованной ею через полстолетия в кабинете следователя; так она старалась подчеркнуть свое классово близкое происхождение из трудовых середняков: родители владели только самым необходимым<sup>7</sup>.

«Отец мой... занимался сельским хозяйством и на дому имел станок по ткачеству... Мать... также занималась крестьянством и ткала на ткацком станке»<sup>8</sup>.

Марфа с малых лет помогала родителям, проучась в земской школе лишь одну зиму 1899–1900 годов; писала с многочисленными ошибками\*, но всегда любила церковные книги (одна из которых со временем послужила «вещественным доказательством» в ее деле, свидетельствующим о наличии у нее антисоветских настроений).

Ивана и Надежду Гараниных отличала богомольность, все углы в их избе были увешаны иконами с теплившимися перед ними лампадами. Рассказывая детям сказки, мать одновременно обучала их молитвам. Обучение происходило примерно таким же образом, каким позже запомнилось и ее внукам (детям Марфы): «Попросим бабушку: “Скажи сказку”. Она после сказки прочтет “Богородицу” и нас заставит повторять, а то по лбу достанется щелбан».

«С восьми лет я пошла учиться... – вспоминала Марфа, – проучилась одну зиму, после чего меня родители в школу больше не пустили, а заставили сидеть дома с малым ребенком. Позднее также дома помогала в хозяйстве родителям, как в сельском хозяйстве, так и за ткацким станком»<sup>9</sup>.

Году в 1911 она в своей же деревне выходит замуж, и через несколько лет рождается первый сын, Николай.

\* собственную фамилию писала через два «а».

Обычная, вереницами столетий накатанная колея русской крестьянской жизни, казалось, должна была вывести к упорядоченному мирному быту, к определенному достатку.

Но уже на излете XIX века противоречия российской жизни соединились во взрывоопасную гремучую смесь. Индустриализация (слово, неведомое большинству жителей тогдашней России) исподволь, неприметно размывала скрепы крестьянского мира. Государственный аппарат, ограниченный в своем всевластии либеральными тенденциями эпохи Великих реформ 1860-х годов, искал возможностей реванша, не желая отпускать из своих цепких лап податное население. В новейшее время постоянно совершенствующихся технологий (от чисто технических до социальных) и «покорения космоса» русский крестьянин вступал по-прежнему ущемленным в своих гражданских правах<sup>10</sup>. Власть общины угнетала волю человека, сковывала его инициативу. Традиция довела над индивидуальностью, что создавало опасные, чреватые взрывом противоречия в душе крестьянина (и шире – во всем сельском мире). Конечно, незыблемость устоев способна поддерживать строгий, хотя одновременно и жесткий, порядок в обществе, но порядок нетворческий, тяготеющий не к решению, а к уходу от назревших проблем.

Одним из важнейших устоев крестьянской жизни являлся институт брака, непоколебимость которого, его «вечность», освященная Церковью, была залогом прочного бытового, экономического и социального уклада. Крепкая семья – это тот идеал, которым жили миллионы русских людей (на противоположном полюсе образа идеального существования находилось почитавшееся в народе монашество, которое, впрочем, предназначалось для избранных). Однако монолитное народно-христиан-



2

ское представление о семье как об идеальном способе человеческого существования при воплощении в жизнь наталкивалось на множество проблем и часто терпело крушение.

Ошибка в выборе супруга, несходство характеров, вдруг обнаружившееся вскоре после венчания, пьянство или леньство мужа (сколь часто эти качества совпадали!), его хозяйственная бесталанность, «злой нрав» жены, военное или политическое потрясение в стране и множество других «крайних» житейских обстоятельств, которыми столь обильна российская действительность, при неспособности крестьянской общины путем компромиссов разрешить эти болезненные проблемы, связывавшие интересы отдельного человека и всей «земли» в один узел, – приводили к надлому и личностей, и общественных устоев. Русское крестьянское «обычное право», основанное на обычаях, уходящих корнями в далекую древность, во главу угла ставит интересы общины. Известно много примеров того, как сельские «миры» удачно разрешали социальные вопросы, заботясь о старых и больных своих членах. Но большей частью «мир» не принимал во внимание интересы отдельной личности, относясь ко всякому, кто выходит за привычные рамки, с подозрительностью и прямой враждебностью. Подавляя

индивидуальность, «мир» игнорировал и сами проблемы, вызывавшие конфликт, которые из сферы реальности уходили в подсознание. Деревенский сход, как правило, видел корень семейных нестроений в недостатках жены. Во всяком случае, даже когда очевидными были жестокое обращение мужа с домашними, его непутевость, то винили в этом супругу (а часто и налагали на нее наказание)<sup>11</sup>. Официально в Российской империи почти не было разводов, в действительности же во многих селах имелись семьи, из которых бесследно исчезли кормильцы («безвестное отсутствие» – так называлось это явление на языке бюрократических реляций), оставив без материальной поддержки домашних, подчас весьма многочисленных<sup>12</sup>. Лишь после тягостной, часто многолетней, бюрократической процедуры, устанавливавшей факт исчезновения одного из супругов, оставшаяся половина получала своего рода «вольную» и могла вступить в новый брак<sup>13</sup>. В годы первой русской революции процесс разрушения семьи, которому сопутствовало и резкое увеличение пьянства, и рост деревенской проституции, пошел ускоренным темпом<sup>14</sup>.

В судьбе Марфы Ивановны вскоре после замужества наметилась трещина. Ее муж (семейное предание не сохранило даже его имени) сильно пил. Пьянство мужа было для жены тем губительным омутом, в который предстояло кануть и ей самой, и ребенку, и всему их имуществу. Легко представить тягостное положение Марфы в этот период ее жизни. «Брак, при настоящей постановке, – писал в 1881 году один из пионеров изучения семейного вопроса в России Александр Способин, – является таким союзом, где человек или находит счастье, или свою полную гибель»<sup>15</sup>. Муж Марфы вместе с ее старшим братом работал в деревенской красильне. Через полгода после рож-



3

дения сына он по случаю какого-то праздника так напился, что утонул... на работе – в барке (большом чану, где вымачивали ткань). В советских (других в ее жизни не было) анкетах Марфа факт первого замужества не упоминала, сообщая лишь о «единственном» браке с вдовцом Кондратьевым. Фигура умолчания была связана с тягостными переживаниями из-за поведения первого мужа, с травмой, вызванной его «свинской» смертью (не забудем и о естественном нежелании впускать в свое прошлое советский НКВД).

«В 1914 году, – писала она, – я вышла замуж за Кондратьева Степана Кузьмича из деревни Зубцово Ногинского района, имевшего от первой жены троих ребят – двух дочерей и одного сына, целый год жила с его детьми, пока муж был на войне, но потом его вернули по

болезни, и мы с ним жили и занимались сельским хозяйством»<sup>16</sup>.

Здесь обращает внимание еще одно обстоятельство: указан неправильный год нового замужества. Степан овдовел в марте 1916 года<sup>17</sup>, и венчание с Марфой могло состояться не ранее этого времени<sup>18</sup>. Возможно, что нелегкие обстоятельства, в которых оба находились<sup>19</sup>, заставили их начать совместную жизнь раньше. Этот период, с рокового 1914-го и по не менее ужасный 1917 год, стал для Марфы нелегким испытанием и проверкой на выживаемость. Ей пришлось наняться на работу к зажиточным соседям Тереховым, державшим в подвальном, каменном, этаже своего двухэтажного дома винный магазинчик<sup>20</sup>.

Новый муж, Степан Кузьмич, был старше на двенадцать лет. Они венчались торжественно, «со звоном», с зажиганием паникадил<sup>21</sup>. Из родной деревни Марфа переехала в мужнин дом – недавно отстроенный – в деревню Зубцово и почти сразу осталась «соломенной вдовой» с четырьмя малыми детьми на руках. В 1917 году супруг демобилизовался, но к радости от его возвращения примешался привкус горечи от нараставшего развала российской жизни. Первые общие дети у них рождаются недоношенными и вскоре умирают<sup>22</sup>. С 1918 по 1920 годы умирают родители Степана и два его брата, а еще один брат пропал без вести в германскую войну. Безвременная смерть близких (у Кондратьевых – семь смертей за три года) стала тогда повсеместно обыденным явлением. Лишь с началом нэпа, в 1921 году, у супругов благополучно рождается (и в конце концов выживает) дочь Ольга. Затем в следующие восемь лет на свет появились еще две девочки и мальчик: все в годы, сравнительно либеральные и сытые для подкоммунистической деревни<sup>23</sup>.

## 4

Отношения между молодоженами с самого начала сложились ровными и покоились на взаимной любви и уважении. Однако в первые годы замужества Марфе пришлось нелегко. Чтобы завоевать доверие неродных детей и должным образом поставить себя в новом доме, она решается на несколько лет расстаться с собственным сыном – оставляет его в Боровково на попечении бабушки и дедушки. Если младшие дети Степана Кузьмича, семилетняя Анна и пятилетний Иван, сразу к ней привязались, то старшая, восемнадцатилетняя Феша (бывшая младше мачехи всего лишь на восемь лет), ее невлюбила и крепко ей досаждала. Но главная опасность пришла с неожиданной стороны. Потребовались недюжинная выдержка и напряжение всех сил, чтобы удержать мужа в семейной колее. Он вдруг забросил дела и пристрастился к картам.

В довоенное время Степан работал ткачом в уездном Богородске, на глуховской мануфактуре фабриканта Арсения Морозова, самобытного представителя знаменитого купеческого рода. На производстве считался мастером своего дела. Приличный заработок позволил ему в канун мировой войны построить дом с крытым двором в придачу и добротными хозяйственными помещениями на участке. Приятной наружности, с правильными чертами лица, обрамленного бородкой, рассудительный, трудолюбивый Степан Кондратьев для многих в деревне являлся примером справногo и душевного мужика. Долгое время, вплоть до колхозов, его избирали сельским старостой. Но революционная смута, штиль в трудовой деятельности – завод встал, заработок исчез – привели к своего рода нервному срыву, когда любая работа валилась из рук и хотелось спрятаться



4

от действительности. Иные ударились в пьянство, он же стал играть в карты.

Уйдут с приятелями вроде бы по делу, а сами заберутся в рожь и целый день там проводят. Мало того, что Степан проигрывался, – домашнее хозяйство без присмотра приходило в запустение. Разговоры с ним, слезные увещания результата не давали. В конце концов Марфа нашла выход. По ее наущению младший пасынок Ваня стал выслеживать отца.

Вспоминают его сестры: «Ванюшка смотрит: куда все мужики идут? Ага, в рожь. Прибежит домой: “Мама, я знаю, где папаня!” Все дети берут фартуки, набирают маленьких камешков, комьев земли и бегут вслед за матерью. И вот только мужики – человек пять-шесть, а то и десять – расстелются во ржи, усядутся в кружок, как на них налетают со всех сторон. Один с этой стороны кидает в них камнями, другой ребятенок с другой стороны кидает. Так повторялось раз за разом. И мужики

больше не стали с собой брать отца. Вот он и перестал играть в карты».

Борьба за прочный брак, страдания, вызванные нестроениями в семье, способствовали углублению характера Марфы. Она обрела ту просветленную житейскую мудрость, которая столь часто встречается в русских женщинах из народа, умеющих, подобно сказочной Василисе Премудрой, и беду обратить во благо.

# Колхозное рабство





## 5

К началу двадцатых годов жизнь для Кондратьевых полегчала. В Москве Степан находит хорошо оплачиваемую работу в «Торговой палате»<sup>24</sup>. История эта требует отдельного описания. Младший брат Степана Иван<sup>25</sup>, рано покинувший родную деревню, успел сразу после революции развестись и вновь жениться (благо, новые порядки тому способствовали) на Антонине Григорьевой, дочери золотых дел мастера. Семья тестя занимала второй этаж каменного трехэтажного дома под номером 4 на Малой Бронной. У Григорьева (крещеного еврея) имелся обширный круг влиятельных знакомых, вплоть до комиссаров в Кремле. Благодаря этому Иван знакомится с председателем ВЦИКа Михаилом Калининным и, по протекции последнего, возглавляет государственную заготовительную контору по поставкам в столицу скота. У него в подчинении находилась бригада мужиков, с которыми он ездил в Сибирь для закупки «живого» мяса: овец или коров. Степан Кузьмич помогал брату. Его дети вспоминают:

«У папани была огромная корзина, метр в диаметре, с откидной крышкой. Он носил ее за плечами. Она вся была набита деньгами, и он брал ее с собой в поездки. Деньги предназначались для закупки скота. Там его приобретут за наличные, погрузят, а позже уже здесь встречают. Потом скотину откармливают и отводят на бойню,

разделяют и мясо направляют на потребности государства»<sup>26</sup>.

В каком-то смысле эта работа имела «стратегическое» значение, так как ее целью являлось снабжение мясными продуктами центрального правительственного аппарата.

«Отец мне рассказывал, – вспоминает Сергей Кондратьев, – как он ездил с братом. В поезд, говорит, садимся, и с нами полная корзина, а то и две, денег. Корзины ставлю на верхние полки, сам сижу здесь, под ними. Иван там, поодаль. И никогда не случилось, чтоб кто-то приставал или имел намерение украсть. Вся бухгалтерия велась без бумаг, на одном честном слове и полном доверии»<sup>27</sup>.

Работа приносила материальный достаток. Долгое время в семье хранилась фотокарточка того времени, на которой оба брата стоят в черных шубах с белыми воротниками из овчины. В черных бараньих папахах на головах. Дядя Ваня, широкой души человек, любил красиво одеться (зимой щеголял в белых меховых бурках), погулять с приятелями. Иногда на лихой тройке он приезжал в Зубцово с друзьями, которые его разве что не на руках носили. Но однажды случилась история, положившая конец его преуспеянию.

«В Москву в очередной раз привезли скот, и к Ивану пришли за распоряжениями: “Какую партию забивать? Первую, вторую или третью?” Он был сильно выпивши и по пьянке неправильно распорядился. “Давайте, – говорит, – забивайте третью”, то есть ту, что только-только привезли. Ну ее и забили. А по существу дела, ее надо бы еще откармливать, чтоб скотина набрала вес, и потом уже отправлять на мясо. А то ведь в дороге, пока коров, к примеру, гонят и везут в столицу, они теряют в весе. Так он и попался. Его судили: год или два отсидел в



5

заклучении. Потом отпустили, и он работал в Глухово сторожем»<sup>28</sup>.

Случилось это в 1925 году. Степан потерял выгодную работу, но к тому времени он уже оправился от депрессии.

## 6

Наладив отношения с мужем, Марфа наконец обрела душевный покой. У замужней крестьянки уверенность в будущем становилась источником самоотверженного служения ближним. Теперь она могла сосредоточиться

на главном – созидании семьи. (В 1924 и 1926 годах у Кондратьевых рождаются еще две дочери, в 1930 – сын.)

К 1931 году в семье Кондратьевых было семеро детей; к троим неродным Марфа относилась так же, как к своим, и, как часто бывает с людьми совестливыми, даже лучше, чем к собственным, кровным. Раз я мачеха, считала она, значит, должна отдавать им лучшее. Однажды младшая дочь, Шура, уязвленная тем, что мать в очередной раз то ли отдала одежонку покрасивей, то ли кусок повкуснее сводным сестрам, упрекнула ее в этом и какой же нагоняй получила!

Мария Степановна Чельшева (в девичестве Кондратьева) вспоминает:

«У нас с Ольгой было одно платье на двоих. Вот Ольга бежит из школы, зайдет за нашу усадьбу – там была канава, и, когда случался разлив, мы туда белье ходили



6

полоскать. Вот она там платье снимет с себя, я – надену и в этом же платье бегу в школу. У нас в семье так было заведено, что к Пасхе или к Петрову дню кому-нибудь шили платье. Мама чаще всего шила для старших, а как раз сводные-то сестры и были старшими. Им нужнее, считала она, вокруг них уже женихи крутились, и мама хотела, чтоб ее девчонки были одеты не хуже других. А нам обидно. У них по три платья было, а мы в одном на двоих бегали в школу. Бабушка нам не успевала чульки вязать: свяжет, а мы их тут же износим. А Феша с Анютой в туфлях щеголяли. Вот мы с Шурой и упрекнем мать: “Ты все делаешь только для них. А мы ходим, как нищие”. Мама отвечает: “Вы мне все равные. У меня чужих нет”».<sup>29</sup>

В ответ все ее дети без исключения платили Марфе взаимной любовью. В 1938 году умерла падчерица Анна, и Марфа взяла к себе ее единственного ребенка, трехлетнюю Катю, которую воспитывала как собственную дочку. Даже Фекла, поначалу невзлюбившая мачеху, постепенно переменяла свое отношение. Старший сын Иван (неродной), уже будучи женатым, старался из уважения к матери не говорить при ней грубого, злого слова, к которому так охочи во гневе да в подпитии русские мужики<sup>30</sup>.

## 7

Характер у Марфы был легким, «веселым». Она умела коротко сходить с людьми, доверяла им и тем самым располагала к себе. У нее был дар скрашивать окружающим нелегкие будни, зазвав в гости, на посиделки, на праздничное застолье. Она никогда не пила спиртного («понятия не имела, какой вкус вина или водки»), но когда ей нальют, поднимет бокал, приглашая других к угощению:



7

«Давайте, давайте» (а свой между тем отставит в сторону) – и начинает запевать. Любила, когда поют что-нибудь задушевное, всегда подпевала. Общение с людьми для нее являлось одной из жизненных радостей, за которой скрывалась еще одна существенная черта – гостеприимство. Дом Кондратьевых всегда был открыт для гостей, независимо от положения, занимаемого теми в обществе: нищих хозяйка зазовет в избу наравне с прочими, всегда накормит («никогда не подавала милостыню у порога, обязательно посадит за стол»).

Вспоминает старшая дочь, Ольга:

«Гостей у нас всегда было много. «Скорей самовар на стол» – это у мамы как привычка».

Нищелюбие Марфы – закон для домашних. Младших дочерей, подростков, отталкивал убогий, неказистый внешний вид странников, и они внимательно следили за тем, какой ложкой ест очередной нищий, чтобы потом есть другой, «чистой». «Я эту ложку после них не возьму», – упиралась семилетняя Маша. «Возьмешь! Ею первая и будешь есть», – подшучивала мать.

Вспоминает средняя дочь, Мария:

«Мама нищих любила. Идет мимо дома нищий, да чтоб она его не накормила?! Такого не бывало. Вот постучат в окно: «Подай милостыньку». Она выйдет, скажет: «Заходите», посадит за стол и накормит. Мы жили на краю слободки, и мама по три-четыре человека на день кормила (хоть чаем напоит, если у самих ничего другого не было)»<sup>31</sup>.

За крайними домами слободки, на лугу, где петляла извилистая Шерна, в шалаше из веток обитал деревенский Диоген, «блаженненький» дядя Ваня Балашкин. Зимой в середине своего жилища он жег костер, согреваясь у огня. Входную дверь ему заменяли два ватных одеяла, свисавших с остроконечной крыши невысокого строения. Когда-то он был женат, но жена оставила супруга из-за его чрезмерной религиозности и чудаковатости (и то сказать, трудно терпеть столь неприкаянного и не приспособленного к быту человека). Так дядя Ваня превратился в «безродного». Любил он наведываться к Кондратьевым, испытывая к хозяину большое уважение. Ходил всегда оборванным и грязным. Придет, стучит в окно: «Марфа Ивановна, я пришел». – «Давай, Ваня, раздевайся! Мы тебя сейчас накормим». На Пасху он первым делом навещал Степана Кузьмича и его семью. У Балашкина был сильный голос, и он красиво пел «Христов воскрес».

«Отец скажет: «Ребятишки, вставайте. Дядя Ваня пришел Христа славить». Папанька ему нальет рюмку, мать пирог поставит ему на блюде большом. Вот он

вперед поест, потом с папанькой похристосуется. Потом папанька скажет: «Ваня, иди умойся». Мама ему мыло даст, чистые тряпки для утирания. А зимой папанька его парил в печке на кухне, согривал таким образом».

## 8

Благодаря родителям семья жила ритмом православного календаря; главными событиями в течение года являлись православные праздники.

«Мама ни одного церковного праздника не пропускала. Бывало, к празднику начистит все иконы и в каждой иконе поменяет цветы, наблюдает, чтобы венчики там и тут были. Она старалась, чтоб праздник всегда был праздником. Часто приходили к нам в красные дни священники. Они всегда бородатые, и нам, детям, казалось в то время, что они очень старые».

Помимо родительских забот и хлопот по дому, Марфа Ивановна ткала за станом, числясь надомницей от Боровковской ткацкой артели. Но главный ее труд начинался ночью, когда она приступала к изготовлению цветов. Традиция украшать искусственными цветами иконы, храмы и праздничную одежду насчитывает в России по меньшей мере несколько столетий и связана с западным, католическим, влиянием, пришедшим через Украину в XVIII столетии, однако творчески воспринятым, широко и естественно вошедшим в наш провинциальный быт. В селах перед большими праздниками, особенно перед Пасхой, еще в первой половине XX века у мастеров-кустарей, делавших цветы, не было отбоя от заказчиков. Мастерство цветочницы ценилось в деревне наряду с ремеслом портного или даже кузнеца. Марфа Кондратьева не только в своем приходе, но и по всей

округе слыла искусной цветочницей, за изделиями которой приходили из дальних мест. Откуда она переняла этот дар, не известно, однако он радовал ее душу и одновременно стал важным материальным подспорьем для семьи в тяжелые годы раскулачивания.

«Она цветы делала, и это было ее призванием с детства, – вспоминает Ольга Степановна. – Всех нас, детей, она тоже выучила их делать».

Цветы изготовляли из цветной гофрированной бумаги, бумажной «стружки»<sup>32</sup> или лепили из парафина. Под руками мастерицы даже обычный лист бумаги, вырванный из дешевой ученической тетрадки, оживал и начинал удивительно походить на трепетный лепесток распустившегося цветка.

«У матери талант был: она срывала любой цветок и тут же делала его точную копию. Она мастерила из любого, самого простого, материала – из бумаги, из чего хочешь. Мы венчалные цветы делали, – продолжает Ольга Степановна. – Раньше мода была: идти под венец в одежде, украшенной искусственными цветами. И вот мы растапливали парафин и лепили цветы; я их любила делать, эти восковые цветы».

«Ее никто не учил, – вспоминает Мария Степановна. – Мы, бывало, идем в лес ли, на луг ли, жать ли, она василек увидит, сорвет его и до того разглядит, как он сделан – тут цветочек такой пухленький, а там стебелек тоненький, – и потом точно такой же сделает из бумаги, словно живой. Прямо ужас как похожий».

Цветы мастерили вечерами, всей семьей. Делали еще «корзинки» с букетами искусственных цветов. В деревянной болванке Степан Кузьмич проделывал сверлом две дырки, туда дугой вставлялась проволока, которую Марфа оборачивала разноцветной бумажной стружкой; в центр болванки вставлялось несколько

палочек, к которым приделывались искусственные лепестки. «В результате деревянную основу не видеть, получался настоящий букетик, шар из цветов».

Позже к делу приставили и малолетнего Сергея:

«Я лепестки вырезаю, а форма их вытянутая. Потом складываю их пополам, кладу в тряпку влажную, нажимаю на эту тряпку и тяну по краю стола – получаются ребрышки. Вот такие листочки уже приставляют к проволоке»<sup>33</sup>.

Сперва изготовление цветов было лишь подспорьем в семейном бюджете Кондратьевых, но позже, при колхозах, стало чуть ли не основным источником заработка<sup>34</sup>. Каждый цветок стоил от одной до трех или даже пяти копеек. «Много мы работали на гробовой магазин, на Ногинск. Папанышка на лошади отвозил туда цветы, сложенные в сундуках. Много заказов было на венчальные цветы, они надевались на голову невесты (с венка обязательно должны были свисать колокольчики), а для жениха и шаферов, державших венцы над молодоженами, на грудь делали ландыши. И ландыши эти не отличишь: что искусственный, что живой»<sup>35</sup>.

Старшая дочь Ольга с цветами в корзине ходила по деревням, стучала в избы: «Кто будет цветы брать?» Но в сознании односельчан отложилось другое: за выполненный заказ Марфа не назначала цену, брала только то, что предлагали (часто это была плата символическая; иногда представители других ремесел взамен предлагали свои изделия: портной – что-то из одежды, сапожник – стачать обувь и тому подобное), порой Марфа могла все отдать и задаром.

Соседка Кондратьевых вспоминает: «Она не ходила по деревне, не набивалась, чтоб у нее заказали цветы. Это мы сами просили, чтобы она их сделала. Только, бывало, придешь и скажешь: “Тетя Марфа, сделай мне к



8

двум иконам цветочки”, и, глядишь, она через день-другой присылает уже готовые украшения»<sup>36</sup>.

За двадцать километров приходили к Кондратьевым крестьяне, у которых дети собирались под венец, заказывали на свадьбу белые восковые (парафиновые) букетики или вдруг ночью приезжали издалека с просьбой срочно сделать цветы на погребальный венок. «Все бросаем, начинаем работать, чтоб успеть к сроку и чтоб люди остались довольны»<sup>37</sup>.

«Приходили к нам домой, смотрели на образцы венков, букетов, выбирали из них и заказывали к такому-то сроку. А перед праздником мать и мы, дети, ходили по деревням и предлагали цветы на продажу»<sup>38</sup>.

В красном углу почти каждой крестьянской избы в округе мерцали иконы в киотах, пылающих яркими красками

Марфиных цветов. На протяжении почти четверти века наряды невест и женихов близлежащих волостей украшали белые, красные, зеленые букеты, созданные руками Кондратьевой; на могилы возлагали сплетенные ею венки, а деревенские сходы (и в Боровково, и в Зубцово, и в Ново<sup>39</sup>) проходили в горницах, стены которых были увешаны изделиями мастерицы. Приходской храм в Новосергиево был средоточием ее постоянных забот, и, конечно, для храма она работала бесплатно. (Этого требовало само ремесло цветочницы, изначально связанное с прославлением христианских святых.) «В праздник, – вспоминает дочь, – мама старалась на каждую икону в храме возложить свои цветы».

Совсем не случайно у односельчан имя цветочницы Марфы соединялось с понятием «церковница», как не случайно и то, что в самые тяжелые для деревни годы ее выбирают старостой приходского храма. Но прежде чем рассказать об этом сделаем отступление и еще раз вернемся к ее взаимоотношениям с домочадцами.

Степан Кондратьев слыл в деревне за человека рассудительного и положительного во всех отношениях, так что и в двадцатых годах, и в первое колхозное время его неизменно выбирали деревенским старостой (пока саму должность не отменили «сверху»).

Сельский староста в прежней России являлся низшим выборно-должностным лицом. Но в местном самоуправлении он играл весьма значительную роль. В его ведении находились все важнейшие дела общины: наблюдение за порядком (на языке канцелярском этот вид деятельности назван с внушительной строгостью – «внутренние полицейские дела сельского общества»)<sup>40</sup>, надзор за хозяйственными делами, мобилизация крестьян на земские работы, участие в сборе государственных податей. «Папанька сход созывал и вел какие-то книги:

большие, амбарные. Он и складчину организовывал – всей деревней починали бедным избу»<sup>41</sup>. Кроме того, он по должности вникал во многие бытовые проблемы односельчан, присутствовал во время заключения договоров, на семейных торжествах. Любой приговор мирского схода утверждался старостой, ему же часто приходилось выступать и в роли посредника и мирового судьи при столкновениях между крестьянами. Таковы были его обязанности. Естественно предположить, что на эту должность избирали людей рассудительных, устойчивых, в спорных и острых вопросах державшихся золотой середины и умевших вести за собой односельчан к разумным и понятным целям. Однако община, этот, по образному выражению В. В. Шульгина, коллективный полудиктатор, часто выдвигала в старосты лиц серых, безвольных, держащих нос по ветру, чтобы угодить и нашим и нашим. Впрочем, в Кондратьеве зубцовские крестьяне не разочаровались: он имел собственное мнение и всегда учитывал интересы другого. В этом и заключалась сила его влияния.

Из уважения редко когда зубцовского старосту называли Степаном, а то все больше величали Степаном Кузьмичом. В округе он, окончивший три класса церковно-приходской школы, считался большим грамотеем. Расширила его кругозор служба в армии, отбыл он ее в частях, расположенных в Царстве Польском<sup>42</sup>. Он слыл метким стрелком – но вот незадача, на стрельбах из трех пуль, выпущенных в цель, две попали в нее как в копейку, а третья «исчезала». Степана это задевало, ибо за отличные показатели на стрельбах солдата отпускали на побывку домой. (Он подозревал, что за «пропажей пули» стояли происки начальства.) В Первую мировую, пока не комиссовали, довелось ему воевать на австрийском фронте.

Новая власть рассматривала мужиков с фабричным и армейским стажем как возможных союзников в разрушении старого мира. В начале двадцатых годов Кондратьеву предлагали вступить в партию, соблазняя последующим направлением на работу в исполком Владимирской губернии (к которой тогда относилось Зубцово). Но от вступления в РКП(б) и карьеры чиновника Степан Кузьмич отказался «из-за семьи» и «не пошел дальше» в этом направлении<sup>43</sup>.

В своей деревне на протяжении двадцатых годов он считался человеком «влиятельным». Его авторитет держался на безусловной порядочности, что советскими активистами, выискивавшими малейшую возможность выслужиться перед властью, воспринималось как признак слабости, несовместимо с благополучным существованием. Они видели в нем чужака. Следующий случай живо рисует различие позиций Кондратьева и новой деревенской верхушки, выпестованной большевиками.

Вспоминает старшая дочь, Ольга:

«Когда начинались колхозы, по деревням еще сохранялись старосты. В это время старостой был отец. Пора была страшная, у нас в деревне без конца стояли пожары. Потом начали заготовку. Мы прямо не знали, что делать, – такие нам налоги давали. И вот что очень запомнилось. Пришел Захаров. Он был кем-то в сельсовете. Пришел и говорит: “Степан Кузьмич, надо вот Мачурина Ивана любым путем завтра прижать”. Отец усовещает: “Слушай, Василий (забыла, как его по батюшке; отец всех старался в деревне по батюшке называть), может, Ивана простишь?” Захаров грозит: “Ну уж нет! Я завтра приду, и мы его прижмем...” Он ушел; уже стемнело, вечер. Мне отец и говорит: “Ольга, беги к Мачуровым. Беги, скажи, чтобы любым путем дед Иван доставал деньги и вносил. Скажи: приходил Захаров”. Вот я за-

дворками, за домами, там какая-то канава – мимо этой канавы – прибежала: “Отец велел... был у нас Захаров”. Дедушка Иван тут же где-то там нашел деньги, принес. И вот помню, приходит этот Захаров назавтра: “Ну, Степан Кузьмич, пойдём”. – “А Мачуров вчерась принес деньги-то”. Ой, как Захаров на отца топал ногами, кулаком по столу стучал!»

Избранный деревенским миром, Степан Кузьмич использовал свою должность для помощи людям, для их защиты, а не разорения. Подобное настроение поддерживала и Марфа, к мнению которой он всегда прислушивался. Оба всеми силами противились вступлению в колхоз, но положение было безвыходное, выбор жесткий: вступи или умри.



Староста храма



## 9

«Мы вступили в колхоз, наверное, году в 1930. Мне лет десять было. До того нас стали очень притеснять. Давили большими налогами. Столько налогов приходилось платить, что одно разорение. Мать все же еще была против вступления. Отец ее слушал. Но после одного из собраний, а на них верховодили бедняки, у которых ничего не было за душой, отец пришел и говорит: “Мать, надо вступать”. Значит, приходилось вступать. А мы считались как середняки. Средняки мы были такие, что мать ночами не спала, цветы делала, я по деревням ходила – продавала. Потому что семье на хлеб не хватало. И вот *пришли*. Сарай взяли у нас в колхоз. Отец его сам строил и железом покрыл (дом и двор также были покрыты железом; а сарай был как дом, мы, дети, любили там спать летом). Сразу у нас забрали и лошадь, сбрую с лошади, сани, телеги – все это взяли. Потом очень много зерна взяли и сколько-то продуктов. Картошки у нас не было, и пришлось нам ее где-то покупать и тоже вносить в счет своего взноса. Такой вот был взнос. Весна подошла, а у нас нет ничего, нечем питаться. Мама говорит: “Ну что ж тут удивительного, зерно-то последнее отдали”. Пришлось у соседей занимать муку».

В 1931–1933 годах по окрестным деревням катились волны раскулачивания, разорения лучших, трудолюбивейших семей, унесшие из родных краев, а часто

и из этой жизни многих в родне Кондратьевых и Гараниных.

В соседнем приходе, в Заречье, лежащем через поле от Зубцово, за речкой Шерной, жила замужняя сестра Степана Кузьмича. Ее семью несколько раз раскулачивали и в конце концов выселили из собственной избы<sup>44</sup>. Еще один родственник из того же села, дядя Иван, попал под наковальню преследований. «Помню, – рассказывает Ольга Степановна Семенчукова (Кондратьева), – он к нам ночью из своего дома мешок притащил с какой-то одежкой, который родители и припрятали до поры. А в Оленино, за деревней Филипповской, жила другая отцова сестра, семью которой также раскулачили».

В деревне Мележа, лежащей недалеко от Зубцово, обитала Мария Сухова, двоюродная сестра Марфы. Оставшись вдовой с девятью детьми на руках, она во времена нэпа открыла чайную, развела большой огород, на котором работали только домочадцы. «Вот их-то семью, – вспоминает Ольга Семенчукова, – объявили кулаками и три раза раскулачивали. В последний раз их до того раскулачили, что они каким-то образом – чуть не голыми – бежали в Богородск, купили там, в районе Торбеево, маленькую баньку и в этой баньке все ютились. Когда к ним последний раз приходили сельские активисты, у тети Маши в люльке ребенок лежал; так вот, его вынули оттуда, из самой люльки все вытрясли и забрали тряпку, в которую был обернут младенец, и солому, что под ним лежала, унесли. Старшая их дочь, Ольга, назавтра должна была идти под венец, так она и пошла, нищей».

Противостоять этой волне насилия крестьяне могли либо бунтом, либо... смирением.

Степан Кондратьев обладал большой физической силой. Как-то раз летом ехал он с заливных лугов, в

телеге на сене пристроилась малолетняя Ольга. Вдруг лошадь шарахнулась в сторону, колесо подломилось, и телега перевернулась, накрыв собой девочку. Испугавшись за нее, отец рывком поднял воз и извлек дочку. Занимаясь одно время обустройством общественной чайной<sup>45</sup>, он не боялся с немалыми по тем временам деньгами в котомке, доверенными ему односельчанами, в одиночестве передвигаться по проселочным дорогам. Однако защитить семью от произвола властей он не мог.

На жену, кроме домашнего нескончаемого труда, легла унижительная для самостоятельного человека необходимость отбывать – фактически бесплатно, за «палочки» трудодней – принудительную колхозную повинность. С раннего утра летом Марфа уходила на косьбу. Возвращаясь домой с закатом солнца, она успевала еще что-то сделать по хозяйству, в котором оставались корова и несколько овец, а ночью, чтоб получить какую-то копейку, вырезала цветы. Непосильная физическая нагрузка, угнетающая обстановка в деревне, поднятой на дыбы «революционным» насилием, – все это привело к тяжелому недугу Марфы. Году в 1932 она слегла от болезни желудка<sup>46</sup> и все лето провела в больнице. Ненадолго ее привезли оттуда в начале сентября, когда в огороде копали картошку, но вскоре она вновь попадает на больничную койку. Все это время она мучительно переживала за детей, которым грозило сиротство.

«Когда мама болела, мне было лет одиннадцать, – вспоминает Ольга Семенчукова. – Думаю: “Чего ж маме понести?..” Наконец догадалась: я ей пирогов с творогом делаю. И вот стала печь пироги-то... Картошки натолкла через мясорубку, муку замесила, тесто творогом начинила, сделала пироги, в печку поставила, в русскую. Вынимаю оттуда – у меня творог отдельно, тесто

отдельно. Я ложкой начинку в тесто положила, понесла. Двое младших сестер, шести и восьми лет, за мной бредут, за подол держатся. Ну, Маша сумку тащит, а годовалого Сережку я на руках несу. Так и прошли четыре километра до Боровково. Взошли в больницу, и вот говорю: “Мам, я тебе пирогов напекла”. Она взяла их – и как же она плакала... И вот думаю: “Чего же маме не понравились мои пироги-то, чего ж она так плачет-то? Неужто ей мои пироги-то не понравились?” А еще во время ее болезни я ходила по деревням и продавала бумажные цветы. Но чтобы хоть одну заработанную копейку спрятать – такого и в мыслях не было».

Через год Марфа Ивановна поправилась и больше в больнице никогда не лежала.

## 10

Если идти по полю, протянувшемуся между деревнями Новосергиево и Зубцово, то на горизонте медленно вырастает колокольня приходского храма, осеняющая своим крестом округу. Крестьянин, идущий за сохой, услышав звон колокола, вспоминал о времени молитвы, о Небе, сошедшем в земную, телесную природу в облике Христа. К началу тридцатых годов эту связь с вечным не смогли разорвать старания кремлевских вождей, изоциренно разорвавших основы бытия сельского мира. Для многих деревенских жителей крест как символ взятого на себя страдания оставался источником надежд и сил<sup>47</sup>.

В тяжелейший период жизни (и своей, частной, и общественной), когда ломали хребет народного самосознания, Марфу Ивановну выбирают – в 1932 году – старостой храма преп. Сергия Радонежского (до того она состояла

в церковном совете), что, несомненно, соответствовало ее настрою, согласовывалось с ее стремлением не только украшать святыню, но и заботиться о храме так же, как заботилась она всегда о своей семье. Забота о семье и храме – вот две, тесно переплетенные между собой, линии, следование которым приводило крестьян к ощущению себя свободными людьми и в эпоху крепостничества, и в пору новейшего закабаления во имя социализма. Согласие Марфы Ивановны с решением прихожан говорит о многом, так как ее предшественник на должности старосты, житель Боровково, был арестован. (Как-то она обронила дочери: «Вот, за бывшим старостой приехали ночью и увезли».)<sup>48</sup>

Дополнительные обязанности требовали постоянных поездок в Москву за свечами и лампадным маслом. Иногда Марфа брала с собой маленьких помощников, своих детей. Сергей Кондратьев смутно помнит, что лавка, в которой мать приобретала церковную утварь, располагалась во двореке какого-то трехэтажного здания: проходишь в ворота, оказываешься у флигеля, где изготавливали свечи.

Дочь Марфы, припоминая – сквозь толщу лет – подробности церковного служения матери, приводит красноречивую деталь, свидетельствующую о воспитательных установках родителей: «Бывало, мама торгует свечами, деньги у кого-нибудь из покупателей упадут на пол, мы спешим сообщить: “Мама, деньги упали”, а она: “Только попробуйте себе взять!” Не было у нас такого, чтоб себе все брать, – все больше приучали нас давать»<sup>49</sup>.

В своих детях Марфа воспитывала «совесть к вещам»<sup>50</sup>, вырабатывая в них навык честности, душевной прямоты, когда и помыслить нельзя о том, чтобы взять чужое.

«В магазин мама пошлет нас, – рассказывает Мария Кондратьева. – Пусть сдача всего лишь копейка, но ты должна ее принести и отдать родителям. Вот ты возвращаешься с покупкой, а она быстренько скажет: “У тебя осталось десять-пятнадцать копеек. Давай сюда их, положи на стол”. Не заведено у нас было себе копеечки оставлять».

«Я сейчас часто мать вспоминаю, – продолжает Сергей Кондратьев. – Она все время ездила в Москву, закупала там просфорки и свечи. Накануне поездки приносила домой мелочь из церковного сбора. Помню, мы все садились за стол, разбирали по кучкам: двушки к двушкам, пяточки к пятакам, десять копеек к десяти. Потом складывали их в стопочки, заворачивали в бумагу, на которой писали, сколько там монеток. Допустим, двадцать штук по десять копеек на два рубля. Разложили, упаковали. И чтоб мы, дети, взяли хоть копеечку?! Ни Боже мой! Даже попытки не было что-то там спрятать. Ничего подобного и в мыслях не возникало»<sup>51</sup>.

# 11

Религиозное воспитание в крестьянских семьях, как правило, не носило принудительного, навязчивого или нарочитого характера, оно было растворено в самой жизни, в мироощущении и постепенно, вместе с трудовыми навыками, прививалось потомству, передавалось в наследство. В дореволюционное время (и частично в доколхозное) религиозность поддерживала («воспроизводила») традиция. Уклад деревенской жизни внутренним своим ритмом, постоянным соприкосновением с опытом рождения и смерти естественным образом приволил в Церковь, подпитывался духовным откровением право-

славия. Ребенок шел за взрослыми в храм, принимая цельный опыт родительского пути и обретая в религиозной картине мира собственное место. «С матерью всюду ходил по храмам, – вспоминает Сергей Кондратьев. – В Стромьини, в Новосергиево, в Филипповском. Стоял там, причащался, на колокольни лазил. Это все как-то “автоматом”». Но в новую эпоху «автоматическое» восприятие веры стало невозможным.

Когда началось гонение на Церковь, на деревню обрушился шквал атеистических агиток, ставивших под сомнение привычные ценности. Сознание крестьянской молодежи с того времени раскололось на две части. Одна половина принадлежала семейному преданию с его памятью о личных встречах с высшим началом, благодаря которым выживали «отцы». Другая – принадлежала современности, расщепленному времени, с его раболепством перед идолом власти, со смердяковским примитивизмом и вседозволенностью. Разрывавшаяся между любовью и доверием к родителям, с одной стороны, и страхом перед угрозами идеократического государства – с другой, молодежь духовно одеревенела. Да и главная забота у нее теперь была одна: уцелеть физически. Беспокойство о сиюминутном определило ее философию. То вечное, чем жили старшие поколения, их детьми теперь лишь смутно ощущалось как какая-то главная, но слишком далекая от нынешнего мира правда.

Тридцатые годы – время, когда православные родители теряли духовную связь с детьми и под натиском безбожия, рядившегося в тогу прогресса и учености, сплошь и рядом упускали молодые поколения из-под своего нравственного влияния. Этот процесс начинался в советской школе, где учителя постоянно внушали, что Бога нет, и заставляли участвовать в атеистических мероприятиях. Малограмотным родителям трудно было противостоять



9

натиску, тем более что учитель в деревне был фигурой, представлявшей власть.

Но духовная связь с матерью удержала детей Кондратьевых от многих ловушек эпохи. Секрет педагогического воздействия Марфы прост: она полагалась на сердечную привязанность к ней детей. Например, никогда не принуждала их становиться на колени во время чтения молитв, как то делали в некоторых семьях; естественным течением жизни ребята тянулись вслед за матерью в церковь.

«Сколько раз я спорила с мамой, — вспоминает Ольга Семенчукова, — что Бога вроде нет и ничего нет. Она, бывало, только вздохнет, иногда скажет: “Тебя Господь накажет...”»

Споры спорами, но материнская молитва приносила дочери реальное облегчение и поддержку в трудных обстоятельствах. Вынужденная рано покинуть родительский кров, она уже жила самостоятельно в Ногинске, снимая угол в «частном секторе». В 1938 году узнает о смерти любимой единокровной (по отцу) сестры<sup>52</sup> и погружается в глубокое уныние, по ночам с криком просыпается от преследующих ее кошмаров. Ольга до сих пор помнит, как приехала мать и как молилась над ней и то чувство успокоения, которое сошло на душу. «Она за нас всех всегда молилась».

Дело религиозного воспитания осложнилось и тем, что в храме далеко не все пребывало на должном уровне, возвышенные идеалы, которые детям внушали родители, часто входили в противоречие с прозой действительности. Настоятелем в Новосергиево в последнее время перед закрытием служил вдовый, средних лет, священник о. Иоанн, имевший слабость к женскому полу. Когда на исповедь к нему приходила молодая баба, у него первым движением было стремление дотронуться до нее, пощупать ее телеса, а не вникать в ее душевные проблемы. По деревне даже, когда какая-нибудь молодлица родит, на его счет ходила такая смешка: «Да что это не вовремя родила, — не от отца ли Ивана? Тот тоже рыжий вроде!»

Этот общительный и веселый батюшка, человек, по общим понятиям, неплохой, стал камнем преткновения в вопросах веры для молодой поросли из православных семей. Однажды в связи с о. Иоанном произошло столкновение между Марфой Ивановной и одной из ее дочерей, Ольгой. 1933 год. Страстная неделя.

«Мама оставила меня с маленьким Сережкой в церковной сторожке, а сама пошла в храм: там идет служба. Смотрю, священник входит. Меня он не видел, так как я тихо сидела за перегородкой. Смотрю, он наливает себе

молока. Выпил молока как следует и опять направился на службу. Приходит мама, а я приступаю к ней: “Мам, что ты нам говоришь, будто нельзя пить в пост молоко: грех? А почему же на Страстной поп его ест?” Она: “Замолчи. Ты что такое говоришь?” А я: “Мам, так я же видела, он молоко пил”. Она: “А он, знаешь, как работает тяжело? Значит, ему так надо. Ты-то зачем его судишь? Перекрестись и больше так не говори”».

Соблазн заключался не в том, что священник, призванный быть примером для паствы, поступает не так, как должно, а в том, что действительность расходится с «теорией», с теми уроками благочестия, которые преподносятся родителями. Собственно, девочку возмущало не чревоугодничество духовного наставника, а то, что ему позволялось нарушать установления Церкви, которым подчиняют себя рядовые прихожане. Удобный повод восстать против «устаревших» понятий «отцов», разорвать с их опытом и вообще с нравственными ориентирами. Ответить на такой «роковой» вопрос можно было только сердцем, что и сделала мать, вложив в свои слова опыт сострадания: «Не судите, да не судимы будете». Отсутствие в семье принуждения в вопросах веры как раз и было тем средством, которое в сочетании с родительской любовью и их личным примером удерживало детей, пусть и на бессознательном уровне, на евангельских принципах жизни.

## 12

Чувство долга, личной ответственности за общий порядок прививалось в крестьянской среде сызмала. Без самодисциплины деревенский мир не мог устоять. Но действительность постоянно ставит перед человеком задачи,

требующие неформального подхода. Общественное мнение деревни, сталкиваясь с нарушителем принятого уклада, часто являло хрестоматийный образец законничества и фарисейства. Под сурдинку членам общины позволялись многие вольности, но когда эти вольности выходили наружу, виновные в отклонении от нормы подвергались всеобщему осуждению, и для их вразумления предписывались горькие лекарства. В разрешении этих вопросов главенство принадлежало хозяину дома.

Вот и перед Степаном с Марфой жизнь поставила нелегкую задачу распутать любовную историю их старшего сына. Иван, 1912 года рождения, обладал широкой натурой. Добрый и отзывчивый, он отличался импульсивностью и горячностью.

В деревне на отшибе стояла изба матери-одиночки (солдатской вдовы) Соколовой. К ней на квартиру подселяли наезжавших из города «ответственных работников». А к дочери ее, Анисье (по прозвищу Онька), чередой ходили зубцовские парни – она никому не отказывала. Повадился к ней и наш Иван. Через некоторое время Онька забеременела. Когда о том пошла молва и начались расспросы об отце ребенка, она указала на Ивана Кондратьева. Степан Кузьмич сказал сыну: «Раз твой ребенок, то женись», но тот воспротивился: «Дите не от меня». Вскоре, однако, Ивану присудили платить алименты. Шел 1933 год.

«Тогда не исследовали, кто прав, кто виноват, – рассказывает его сестра. – Раз женщина сказала, что он отец ее ребенка, значит, она права».

Отцу удалось настоять на своем. Начались приготовления к свадьбе.

Между тем Иван занялся странным делом – счищал серу со спичек. Всем нутром он противился предстоявшему браку. Однажды подошел к Ольге, обнял ее и

сказал: «Прощай, седая!» (Так он ее называл за пепельный цвет волос.) Потом направился к стогу сена у реки, и вскоре оттуда донесся выстрел.

«Никому ничего не сказав, – рассказывает Сергей Кондратьев, – брат делает поджигалку. Поджигалка – это обычная трубка. Она похожа на кран. (Вворачивали раньше такие краны в деревянные бочки: пробку в кране закрыл, и ствол перекрыт.) Делают надрез, щель сверху прорезают, туда серу со спичек набивают, а потом вату, потом дробь. И вот поджигай и направляй куда надо, и получается тебе пистолет. Самопал называется. Вот Иван в себя стреляет. Дробь не дошла у него до сердца миллиметра три. Он остался жив. В итоге он женился на Оньке».

Парадоксальный случай, когда требования государственной политики (в Стране Советов слабый пол был защищен от мужских прихотей всей мощью революционного закона) совпали с мнением религиозного отца, вынуждавшего сына узаконить свои отношения с женщиной легкого поведения (впрочем, по официальной версии, в СССР не было проституток). Мужчина, считал Степан Кузьмич, должен нести ответственность за своего ребенка. (Уже после войны Онька призналась детям, что первенца родила не от Ивана, а от заведующего клубом близлежащей деревни.) Жесткой позиции мужа противостояла жалость к сыну со стороны Марфы, понимавшей его страдания и нежелание жениться на нелюбимой.

«Я услышала взрыв, – рассказывает Мария Чельшева, младшая сестра Ивана, – прибегаю в избу. «Мама, кричу, Иван себя убил!» Она бросила ухват и вместе с нами побежала к речке. Иван лежал на сене весь в крови. Она обняла его: «Что ты наделал?» – заплакала».

За этими скудными воспоминаниями, удержавшими частичку трагического прошлого, проступает любовь-жа-

лость матери, способная подняться над буквой закона. По-видимому, именно Марфа как-то смогла примирить сына с его судьбой, утишить боль его душевных ран. «Он любил ее больше нас, родных по крови»<sup>53</sup>.

После женитьбы Иван столлярничал, работал возчиком в колхозе и на косилке, помогал в кузне, воевал на Финской; вернувшись целым и невредимым, родил с женой двух сыновей. «Мастеровой мужик был», – вспоминают о нем в деревне.

Яйца учат курицу, идейность верховодит здравым смыслом. Традиционные связи между обитателями новой, советской, деревни, в изображении агитпропа, этого дежурного лакировщика действительности, как бы вывернуты наизнанку. Крестьянская молодежь перевоспитывает «неграмотных» родителей, сельские женщины становятся «стахановками» и разрывают с «кабальной» зависимостью от воли супруга. Главным для колхозников (новое наименование деревенского жителя) становятся не личные интересы, а выполнение партийно-государственных задач. В реальности же основной ценностью для крестьян оставалась семья, поставленная коллективизацией на грань физического уничтожения. Стратегию выживания семьи (а значит, и каждого из ее членов) определяли родители. В семьях, сохранявших традиционный уклад, дети слушались старших беспрекословно.

Нужда заставила детей Кондратьевых рано впрячься в ярмо трудовой повинности. Ольга, окончив пять классов, оставила школу: надо было заменить в колхозе заболевшую мать; Маша с четырнадцати лет начала «работать полотенца» в ткацкой артели. Зарплату всю до копейки отдавали родителям. «Мы ее не получали. Ходила мама или папанька. Пойдут, получат»<sup>54</sup>.

В 1936 году пятнадцатилетняя Ольга, прибавив себе в анкете лишний год, устроилась на ногинский завод

«Грампластинка». На квартире, которую она снимала у бывших односельчан, ее часто навещала мать. Привозила хозяйке картошку с капустой. Получку дочь безропотно вручала родителям. Какую-то часть денег Марфа ей оставляла «на хлеб». Ольга мечтала о модных туфлях на высоких каблучках. Мать же купила ей парусиновые туфли на небольшом каблучке. «Сказать маме: “Мам, не нравится мне, что ты покупаешь для меня из одежды” (ведь деньги фактически я зарабатывала), – не могла я так сказать. Язык не поворачивался. Как-то перед войной отстояла целую ночь в очереди за материей. Купила драп мужской себе на пальто. Мама говорит: “Ну куда ты такой купила? Ладно, мы из него Кольке что-нибудь сошьем, а тебе уж я свою шубку отдам”. Отдала она мне свою шубочку, перешив ее, и я была довольна».

«Купила я как-то юбку-клевш, она была мне в обтяжку. Мать возразила: “Ты что, с ума сошла? Зачем обтягиваться?” И я перестала ее носить. Нам, конечно, хотелось одеться помоднее, но не это главное».

Обида на родителей порой окатывала сердце волной горечи. Но понимание необходимости самоограничения для сохранения близких, живое чувство солидарности удерживало детей от бунта.

Все они отмечают как одну из главных черт характера матери ее душевную нежность. «Мама была ласковая, – вспоминает Сергей Кондратьев. – Очень ласковая. Я помню свои капризы, когда мы с ней ходили в Стромьнь. Идешь километров десять-пятнадцать, устанешь. “Мама, я устал!” – “Ну, ничего, давай посидим. Давай теперь я тебя понесу. Садись ко мне на кошелки”. Забираюсь верхом к ней на плечи... А чтоб отругать – такого не было».

Если дети Кондратьевых не превратились в безбожников, не влились в толпы разрушителей, если всегда

старались руководствоваться четкими представлениями о добре, полученными в семье, то только благодаря матери, запечатлевшейся в их сознании примером нравственной чистоты и порядочности. В воспоминаниях дочерей она часто предстает и как хранительница домашней чистоты: убирает, омывает дом, уборка завершается молитвой. «Каждый вечер вымоет пол – мы все спали на полу – и помолится». «Бывало, скажет перед едой: “Девчонки, вымойте руки, перекреститесь и за стол садитесь!”» Старшую Ольгу часто посылала в Новосергиево, в дом к священнику: «Иди, вымой там пол – вот ты и сделаешь доброе дело». И хотя ее дети сейчас признают, что под давлением обстоятельств они «от веры отходили», но храм своего детства, в котором служила их мать, вспоминают с теплотой: «Нам нравилась наша церковь».

## 13

В 1936 году храм остался без священника, его закрыли, но официально он еще несколько лет числился за общиной верующих. Подобная тактика применялась во многих местностях. Расчет был простой: с одной стороны, верующие, лишённые духовного окормления, сломленные постоянным конфликтом с государством, не смогут содержать церковь в надлежащем порядке и внутренне будут подготовлены к ее неизбежной окончательной «ликвидации»; с другой стороны, если, паче чаяния, община окажется стойкой и сможет поддерживать должное состояние культового сооружения (и, как правило, поддерживать, если власть не организовывала налетов на молитвенное здание), – выявить неформальных руководителей из прихожан («активистов») и пре-

сечь контрреволюцию в религиозном обличе на корню, отправив их в места не столь отдаленные. Во всяком случае, в этом изводе антирелигиозных гонений ключи от храма оставались у старосты (или у того из православных ревнителей, кто брал на себя смелость защищать церковное достояние). В Новосергиевском приходе таким самоотверженным хранителем оказалась Марфа Кондратьева. Но она не только берегла имущество, она организовывала односельчан для общественной молитвы. Что может сделать одна простая, малограмотная колхозница, когда на Церковь идет войной государство? По убеждению православных, сила Церкви – в соборности и потому верующим необходимо единение в совместной молитве и благотворении. «Вера без дел мертва есть», «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» – слова Христа, в которых Его последователи черпали надежду в самые мрачные эпохи. И, как ни странно, советская власть всегда видела для себя опасность в этой совместной молитве, соединенной общим упованием. Пройдет пять лет, и следователь НКВД подошьет к государственному обвинению Кондратьевой эпизоды с организацией молебнов.

«Мы колхозников собирали на покос, – покажет доносчик, – а она [Кондратьева] ходила по домам, собирала деньги и агитировала идти на молебен...»<sup>55</sup> А раз так, подразумевалось логикой советского «новояза», значит, подрывала колхозный строй.

«Кондратьева всегда занималась церковными делами, провокацией, – показывал другой соглядатай. – Был случай, когда во время заготовки зерна, сорвала уборку [урожая], увела людей на молебен»<sup>56</sup>.

Но то, что для «органов» являлось преступлением, для крестьян – во всяком случае, для тех, кто не потерял своего лица («Живой» – назвал одного из таких писа-

тель Борис Можаяв в знаменитой одноименной повести 1960-х годов), – было наилучшей характеристикой человека, свидетельством его порядочности. Марфа Ивановна в эти годы приобретает широкую известность среди деревенского населения округа. В том же 1936 году, когда новосергиевская община оказывается без духовенства, ее избирают церковной старостой в отдаленном (километров за двадцать от Зубцово) приходе села Стромынь, прославленного древней чудотворной иконой Божией Матери Кипрской<sup>57</sup>, хранящейся в местном храме. Этому, конечно, способствовала репутация Марфы и как ревнителя веры, и как цветочницы, чьи изделия (в которые она вкладывала частицу собственной души) украшали красные углы – своего рода «малые церкви» – в избах простого народа.

«Все эти годы, – вспоминает одна из ее дочерей<sup>58</sup>, – к матери всегда шли люди за цветами. Приходили издалека. Вот, помню, приходит поздно вечером женщина из Ратьково (деревня, лежащая через поле от Зубцово, но относящаяся уже к Владимирской области. – *Прим. автора*). Река перед Пасхой разлилась, и она не могла пройти полем, пришлось делать большой крюк через Заречье, Следово и Мамонтово. (И обратно потом делать такой же круг.) Появилась она у нас уже под ночь. Извинилась, что пришла поздно и что денег у нее нет, и она вместо них принесла муки. Мать заплакала, сняла цветы с икон:

– Какие понравились, – говорит, – те возьмишь.

– Спасибо, что дала.

– Тебе спасибо, что сама пришла да еще что-то нам принесла».

Марфа Ивановна не читала газет, которые изредка появлялись в доме Кондратьевых благодаря пристрастиям к чтению ее супруга, и не могла по достоинству оценить

слащавые описания перемен, происходивших с селом после 1917 года, вроде столь избитого зачина: «Неузнаваемо изменился облик русской деревни за время советской власти». Для крестьян ее родных мест перемены были удручающими: ни в одном дворе, после вступления в колхоз, не осталось лошадей, что по рукам и ногам сковывало инициативу – ни поехать куда, ни отвезти что-либо (например, плоды своего труда на городской рынок) стало невозможным (только по разрешению начальства, которое его просто так не выдавало). Все двадцать лет новой власти рядом исчезали люди, причем не только зажиточные, к которым приклеивали ярлык «кулака», но и безропотные трудяги, середнячки, каким, например, был в Зубцово колхозный бригадир и просто «смирный мужик» Алексей Ходателев, увезенный из дому в одну из ночей 1937 года. Колхозники, как проклятые, работали от зари до зари, а денег в глаза не видели. В то же время в соседнем Боровково старик Иван Вакуров ежемесячно получал за сына-чекиста, погибшего в Гражданскую в карательной экспедиции на Урале, персональную пенсию – вначале в 25, а затем в 150 рублей<sup>59</sup>. (Никто в тогдашней российской деревне пенсии не получал. В войну, на зависть односельчанам, Степану Кузьмичу стали выдавать 18 рублей в месяц. Оказалось, что у него имеется фабричный стаж, а значит, и право на пенсию.)

У входа в слободку, на краю которой – с «красной стороны» (то есть справа от реки) – жили Кондратьевы, стояли два каменных двухэтажных дома зажиточного и многочисленного семейства Виноградовых. В начале тридцатых годов хозяев выселили, а в зданиях устроили школу и детский сад. Только в одном Зубцово раскулачили и торговцев Крымовых, открывших при нэпе магазинчик, и рачительных крестьян Сериковых, и Власовых, и Мачуровых. Семью последних (о том, как их пытался

спасти Степан Кузьмич, сказано выше) занесли в черные списки, ибо в доколхозное время та владела двумя лошадьми и двумя коровами, а то, что в своем составе насчитывала двенадцать едоков, – в расчет этой адской бухгалтерией не бралось.

Страной недаром правил Генеральный писарь. Работа сооруженной им фискальной машины, надзирающей за жизнью народа в самых отдаленных уголках страны, достойна удивления. Руководители зубцовского колхоза не могли похвастаться грамотностью. Однако в районном центре каждый сомнительный, с точки зрения социалистической идеологии, человеческий элемент, проживавший в сельской местности, был детально описан и внесен в списки неблагонадежных<sup>60</sup>. Эти чиновничьи бумаги помогали Ногинскому партийно-хозяйственному начальству своевременно выполнять план по раскулачиванию. Списки подразделялись на тех, кто подлежал немедленному выкорчевыванию, и на так называемый «резерв». Всякий обреченный и каждое семейство в отдельности имели свои номера. Вот описание одной зубцовской семьи (под номером 37), сохранившееся в таких проскрипционных таблицах<sup>61</sup>.

	Фамилия, имя, отчество	Пол	Возраст	Семейное отношение к главе
37/185	Сериков Сергей Васильевич	мужской	56 лет	глава
186	Александра Ивановна	женский	50 лет	жена
187	Евгений Сергеевич	мужской	27 лет	сын
188	Константин Сергеевич	мужской	25 лет	сын
189	Виктор Сергеевич	мужской	20 лет	сын
190	Борис Сергеевич	мужской	11 лет	сын
191	Людмила	женский	14 лет	дочь

**«Характеристика:** До 1917 года имел кустарную фабрику с наемной силой до 200 человек, лишен права голоса в 1918 г., в настоящее время раскулачен, налогом облагался – в 1929 г. – 1300 рублей, антисоветски настроен, согласно постановления общего собрания колхозно-бедняцких середняцких масс, утвержденного Пленумом сельсовета, выслатъ всю семью как кулака-эксплуататора, закабальвавшего местное крестьянство под свое влияние, мешавшего проведению мероприятий Советской власти и партии».

**Приписка:** «Среди населения имеют авторитет»<sup>62</sup>.

«Кустарная фабрика» – это деревянная светелка, в которой стояло несколько станов, а «до 200» наемных рабочих – это крестьяне, бравшие у «фабриканта» своего рода семейный подряд и из его сырья за определенную плату ткавшие материю. Красноречивая подробность: вся семья приравнена к «кулаку-эксплуататору», что означало заложничество всех за мнимую вину одного из домашних. Клеймо изгоев, «вредителей» налагали на лучших, трудолюбивых и талантливых представителей крестьянства.

О развращающей бессмысленности подобной перекройки деревни красноречиво говорят детские воспоминания местной старожилки:

«Я была небольшая, и как раз за Сериковыми приехали – раскулачивать. Помню, что ихний дед подарил мне на прощание зонтик. “На тебе, дочка, зонт”. А я им не попользовалась, пошла и с сарая спрыгнула, думала – парашют, он и выгнулся весь».

Принудительное закрытие храмов довершало абсурдность происходящего, его издевательский для традиционного крестьянского сознания смысл. Воистину при большевиках мир перевернулся: то, что прежде составляло



его нравственную опору и содержание, радующее сердце, – религия – теперь превратилось в преступление.

Что в этой удручающей, зловещей обстановке давало человеку силы терпеть и оставаться самим собой? Как ни странно, революционная, насильственная перекройка российской действительности еще долго, несмотря на страх перед новой властью, невзирая на мощную пропагандистскую обработку мозгов, оставалась для крестьян ненормальным явлением, проросшим на родной земле в наказание за грехи и по попущению свыше.

Окрестные жители прекрасно помнили карательный отряд красных, рыскавший по уезду в 1918 году и казнивший в соседнем Заречье нескольких крестьян. А в центре Новосергиево, недалеко от приходского храма, долго (до

начала тридцатых годов) стоял крест и теплилась перед ним лампада на месте убийства чекистами церковного фундатора и деревенского благодетеля фабриканта Федотова.

Для Марфы Ивановны творящиеся вокруг безобразия сохраняли значение порчи, болезни, охватившей общий дом по имени Россия. Подобное восприятие помогло ей оставаться открытой и доброжелательной, неожиданно смелой (она и не догадывалась, что поступает бесстрашно) в безнадежных обстоятельствах. Она не забилась в угол, не съежилась до размеров щели в подполье, распрямленной идя по полю жизни.

Ее дочь Ольга передает свое тогдашнее детское ощущение действительности как мира, населенного родными, что, несомненно, отражает родительское, и в частности материнское, мироощущение.

«В какую деревню ни придешь, – вспоминает она, – всюду родные. Даже в далеком Филипповском у нас много было родни. Только в Стромыни никого не было». «Но и там, – продолжает она, – одна женщина научилась делать цветы. Придет к нашей маме и спрашивает: “Как делать то и то?”»<sup>63</sup>

## 14

В деревне большое значение придавали поддержанию тесных отношений с родней<sup>64</sup>.

Общение с родными (ввиду того что каким-то непостижимым образом, в силу генетической связи, плотское родство удерживает человека от равнодушия к другому, делает более внимательным и отзывчивым, а значит, и одухотворяет) обогащало опытом, расширяло кругозор, сохраняя родовую и обостряя личную память.

Интересно, что некоторые среди близких сродников Марфы принадлежали к сельской интеллигенции и, значит, получив образование, имели возможность на языке культуры выражать настроения породившего их крестьянского мира. В большом селе Филипповском Владимирской губернии в двухэтажном кирпичном доме жила семья ее двоюродного брата Василия Куравцева. Он был учителем и на досуге занимался археологией. Летом вместе с учениками отправлялся к деревне Дядькино Богородского уезда и возле старинного тамошнего монастыря (Николаевской Берлюковской пустыни)<sup>65</sup> производил раскопки. Семья Куравцевых была религиозной, как, впрочем, и вся многочисленная родня Марфы, проживавшая в этой деревне. Сергей Кондратьев вспоминает одно из своих с матерью посещений Филипповского:

«Мы с ней ходили в Филипповское в гости к дяде Васе. Помню, он сделал деревянный велосипед и подарил его мне. И вот этот велосипед мы с матерью везли домой. Привезли (до Зубцово отсюда километров десять). Правда, у него педалей не имелось: один садился, а другой тебя держал и вез. В деревне возле нашего дома собрались все пацаны и давай меня возить. А потом по очереди стали на него взбираться и ездить, пока не сломали».

## 15

Земля населена если не родными по плоти и крови, то сродными по духу. И те же супостаты из местных активистов, сущие аспиды в человеечьем облике, сосущие кровь близких, – они тоже «свои», не чужие, не пришлые. А среди своих, хотя и своротивших с пути, все же легче сохраняется надежда на их исправление и покаяние, на обретение взаимопонимания. Только таким отношением к



11

людям можно объяснить сравнительно долгое и относительно благополучное существование Марфы Кондратьевой на свободе. «Своего», хотя и со всеми признаками классового изгойства, как бы вынужденно соглашались терпеть и ближайшие начальнички (из тех, что вышли в князи из грязи).

«Сельсоветчикам мать тоже всегда давала цветы, – вспоминает Ольга Степановна. – Букет сделаешь к празднику, им поставишь. Вот ее и не ругали».

При этом все годы подспудно тлела и другая сторона взаимоотношений простой крестьянки и власти.

«Конечно, мама делала цветы больше для церкви, и начальство оттого злилось, хотя она им всегда бесплатно наделает цветов».

Наружу их ненависть вырвалась тогда, когда Марфу навсегда уводили из собственного дома; присутствовав-

шие при этом в качестве понятых местные партийцы одобрительно кивали головами, приговаривая: «Вот видите, цветы для себя делает, а в колхозе не работает».

И в самом деле, перенеся тяжелую болезнь, обремененная многодетной семьей, не по возрасту иссохшая – ей шел всего лишь пятый десяток, Марфа Ивановна все реже выходит на общественные работы, разве что изредка ворошить колхозное сено. При этом вечера она проводит за станом, числясь ткачом-надомником Боровковской артели<sup>66</sup>.

Иногда сельсоветчики, особенно Николай Жданов, желая припугнуть строптивницу, останавливали ее дочерей и с угрозой в голосе предупреждали: «Смотрите, у вас мать в колхозе не работает». Иногда в таких случаях происходила между ними характерная перепалка.

Девушки Кондратьевы:

– А зато мы все в колхозе работаем. А твоя женушка не работает.

– А у нас дети.

– А у нас?!

«К маме придирались, – вспоминает Мария Кондратьева, – почему вы, дескать, не выходите на работу? Но, во-первых, мы, дети, все ходили вместо нее в колхоз пахать. Я с четырнадцати лет уже сидела за станом в светелке, а в колхозе еще до этого надрывалась. Мы положили там, жали. Когда в первый раз пошла жать, палец серпом обжала. А во-вторых, мама очень болела, и у нее справка была, что имеет серьезное заболевание по женской части».

Во всяком случае, долгое время Марфе Ивановне удавалось обезвреживать подобные угрозы, превращая их в шутку или в обыденную перебранку. Она оставалась всеми уважаемой цветочницей, отзывчивой и щедрой на добро.

«Мы к ним все время бегали, – вспоминает Мария Ильинична Гражданкина. – Хоть когда бы тетя Марфа нас обругала. “Девчонки, – только скажет, – садитесь с нами обедать”. А то предложит: “Давайте, я вас научу цветы делать”». «Если человек пень, так и скажешь о таком, что пень, а о Кондратьевых одно хорошее говорили», – заключает рассказчица<sup>67</sup>.

Вплоть до своего ареста Марфе удалось в целости сохранить оба доверенных ей людьми храма и сберечь церковную утварь. Она обивала пороги сельсовета, пытаясь добиться от властей содействия в сохранении церковного имущества или разрешения на приезд в село священника для совершения службы. Безрезультатно. В 1937 году, когда над округой разыгралась небывалая гроза, в новосергиевскую церковь ударила молния такой силы, что загорелась колокольня. Чтобы потушить пожар, старший сын Кондратьевых, Николай<sup>68</sup>, залез на пылающий купол и сбросил крест на землю. (Крест упал возле церковной сторожки.) Все восхищались его смелостью, но сердце матери сжалось от дурного предчувствия.

Еще до этого случая собралась у храма пьяненькая ватага местных гуляк во главе с колхозными «вождями» (значит, уже не хулиганье, а «организованная партией масса») и скинула большой медный колокол. Он так глубоко вонзился в землю, что потом недели две колхозники его выкапывали.

В 1933–1937 годах в Зубцово периодически поднималась антирелигиозная кампания с публичным сжиганием икон.

Их жгли и рубили по всему уезду (картина местной жизни отражала всероссийскую действительность с ее неистовыми атаками на культурное наследие). Уничтожали и книги – почти все, что были изданы до револю-

ции. (И в этом кремлевский Секретарь опередил основателя Третьего Рейха.) В центре Ногинска (конец 1920-х – начало 1930-х годов), на площади Карла Маркса, периодически раскладывали огромный костер, и тысячи людей тащили в него и томики в кожаных переплетах, и связки дешевых бумажных изданий, и семейные киоты, из которых отрешенно глядели светлые лики святых<sup>69</sup>. Колхозные председатели эту вакханалию воспринимали как указание к действию и то же самое устраивали и в своих владениях.

Опять разгульная толпа мужичков (из тех, которых исстари прозывали в деревне «непутевыми») во главе с колхозным руководством вваливалась в избы и требовала от хозяев отдать им имевшиеся иконы на сжигание. Если те не отдавали, устраивали обыск. «Колхозники не имеют права держать у себя пережитки прошлого». Найденные иконы тащили на прогон, которым пастухи водили стадо коров на луг, сжигали из этих намоленных досок (православное богословие называет иконы «окнами в духовное небо») горки и разжигали костры. «Это страшная картина: жгут иконы, – вспоминает Мария Чельшева. – Мама говорила деревенским: “Зачем вы это делаете? Отдайте лучше тем, у кого их нет”».

Однажды Марфа ухитрилась незаметно вытащить из груды образов, предназначенных на сжигание, икону Воскресения с клеймами. Принесла домой и спрятала под порожек ворот в сарае. Переждав некоторое время, когда приступ очередной истерии несколько улегся, снесла икону в церковь.

«Мама нам говорила, – продолжает Мария Степановна, – кто это делает – ругается над святыней, – тот своей смертью не умрет. И я теперь смотрю, что все, кто жег и рубил иконы, все плохо кончили. Кого парализовало, у кого рот набок свело, у кого ноги отнялись».

# 16

Нормальный, с крестьянской точки зрения, порядок сохранялся лишь в семье, в родном доме да в природе.

Хотя внимательный взгляд и в природе обнаруживал следы запустения и разора: в начале двадцатых годов в обширных лесах Богородского края исчезли лоси, водившиеся здесь во множестве. Мужики, вернувшиеся в 1917-м из развалившейся армии и принесшие с собой большое количество оружия, безоглядно отстреливали благородных животных. В этом отцам активно помогали дети-подростки. В те же годы началась хищническая вырубка леса.

Степан Кузьмич отстроил дом и приусадебные помещения еще до второй женитьбы, во время работы на Морозова. Изба Кондратьевых была семь на семь (метров); три окна шли вдоль длинной стены, и одно было на боковой стороне. Но главная особенность их избы (и в этом уже видно влияние Марфы) – иконы во всех углах, во множестве стоявшие на длинных полках. Перед каждой иконой горела лампада (где синяя, а где красная или белая).

Сразу после сенейходишь в маленькую кухню, называемую в здешних местах судницей. В кухне стояли ведра с водой, накрытые досками, и размещался небольшой столик.

Печь, начинаясь от входа в горницу, занимала полдома. От ее края до дальней стены насчитывали ровно девять половиц (по полметра шириной каждая). За печкой был устроен проход, так что при желании ее могли обогнуть со всех сторон, но проход этот занимали полаты, где хранились подушки и постельное белье (спали, в основном, на полу). Там же стояли чугуны. Зимой под полатами лежал теленок. На печи красовались трехведерные самовары.

В центре комнаты возвышался ткацкий станок, у которого, как и у стола, где вырезали цветы, зимой по преимуществу сосредотачивалась трудовая деятельность семьи.

Бани, как и во всей деревне, не имелось. Парились каждую субботу дома, все в той же печи. Для этого существовал определенный ритуал. Зимой (кульминация банной процедуры) все, вплоть до малышей, выбегали голышом во двор и в сорокаградусный мороз окачивались горячей водой. «У нас из сеней во двор выходило крыльцо, с него спускаешься, а внизу на земле уже солома постелена. Маманька нас, детей, хлестала березовым веником. А папанька сверху, с крыльца, окатывал горячей водой и уже в избе насухо вытирал. Потом залезаешь на печь»<sup>70</sup>.

«Изба, сени, чулан и примыкавший к ним двор были покрыты железом – не под одной крышей, но в два поката. Ворота сквозные, здесь въезжаешь, а там выезжаешь. Разворачиваться не нужно»<sup>71</sup>.

Перед домом устроен палисадник, позади – огород, тянувшийся далеко вниз, в поле, вплоть до реки, где сажали картошку, капусту и прочие овощи. Во дворе стоял большой рубленый сарай на деревянных столбиках, чтоб снизу, сквозь щели в полу, хорошо продувалось и просыхало сено. Поэтому здесь всегда царил прохлад, и летом детвора просилась туда на ночь спать. «А еще мы, малышня, любили лазить под сарай, там несло много чужих кур, забредавших к нам. Бывало, возьмем с собой тряпку или какую-нибудь фуражку и доверху наполним еще теплыми яйцами. И еле-еле вытаскивали эту добычу наружу»<sup>72</sup>.

У реки также стоял сарай с сеном для скота. (Потом его «конфисковали» в колхоз, и из его бревен построили на центральной усадьбе конюшню.) «Папанька специально ездил куда-то к Филипповскому за красной рябиной и

калиной. Привезет, закопает в сено, а зимой нам огромные кисти принесет для лакомства. А рябина крупная, сладкая!»<sup>73</sup>

«Когда сено в сарае кончалось, там устраивали качели, и к нам приходили соседские ребята кататься. Придут, ворота откроют и на качелях катаются в этом сарае»<sup>74</sup>.

У речки Шерны заливной луг летом превращался в болотце, где в изобилии росли клюква и малина. Сюда прилетали цапли, утки и гуси. А к стогам сена, стоявшим неподалеку, на мякину<sup>75</sup> приземлялись куропатки, иногда штук по сорок. Степан Кузьмич ставил на них капканы.

«В Зубцово сеяли одну гречу. Сколько же у нас дома гречи было! Молотили осенью. Папанька свезет мешков пять-шесть, чтоб ее ошкурили, а когда ошкурят, то беленькую ссыпал на чердак. Иногда пойдет на чердак, почерпнет ведро гречи и туда, к стогам, снесет – кормить куропаток»<sup>76</sup>.

Так повелось, что у Кондратьевых домашние животные – кошка, собака и лошадь – всегда были черно-белого цвета. Однажды Степан привез из Киржача серого жеребца, но нрав у того оказался бешеный. Пришлось его срочно продавать, а взамен приобрел черно-белого в черно-белых же яблоках. На этом жеребце по кличке Мальчик, пока его не забрали в колхоз, еще успел немного покататься маленький Сергей.

По воскресеньям взрослые брали детей в храм. В большие праздники детвора молилась еще и дома: за этим следил отец. В ночь на Рождество родители уходили на службу, но «папанька» (так они его называли) предупреждал ребятшек: «Буду в двенадцать, спать не ложитесь». В полночь приходил домой: «Вставайте, сейчас будут Христа славить!»

Вообще, как многие мужики, он в храм ходил редко (в отличие от жены, которая не пропускала ни одного праздника), но следил за тем, чтобы лампадки в избе перед иконами всегда теплились. Не перекрестившись, сам за стол не садился и детям напоминал: «Ты почему сел и ложку взял, чтоб щи черпать, а лоб не перекрестил?»

Ели всегда вместе. Семья собиралась за раскладным, чуть не во всю избу, столом, за который дети по своему хотению не смели усесться: ждали отцовского сигнала.

«Все обязательно должны быть в сборе, – вспоминает Сергей Кондратьев, – в центре стола общая миска. Отец сядет, значит, и мы можем есть. Молитву читали обязательно. “Перекреститесь за столом, – скажет, – и давайте ешьте досыта”. Отец стукнул ложкой, значит можно мясо таскать. Пока ложкой не стукнет, никто мяса в блюде не тронет. Ели все из одной миски, по очереди черпая из нее ложкой».

Спали на полу: дети в центре избы, а родители под станом. Каждый вечер, прежде чем постелить, Марфа мыла пол. (Позже это стало обязанностью подросших дочерей.)<sup>77</sup>

С малолетства ребята включались во взрослый труд. С раннего утра дети садятся за ткацкий станок, мотают шпули и, пока не намотают положенное количество, гулять не идут.

«Отец нитку насаживает и, поскольку у меня зрение хорошее, мне ее накидывает, и я протаскиваю в дырочку. Потом пропускаю через ремиз (а там их четыре-пять), чтоб елкой делать ткань, для разнообразия рисунка. Протащили через ремиз, теперь надо через бердо протащить. Вот протащили мы уже и навои. Навой – это, по сути дела, круглый щербак, в торцах стальные оси.

Вот тут батан ходит, челнок летает с ниткой. Теперь мое дело наматывать нитки на челнок. Я сажусь за мотальный станок: это большой деревянный круг, сверху идет нитка, а здесь шпуля надевается. Когда шпульку надел, она должна в челнок встать, а я наматываю ее конусом – так, чтоб нитка не сошла».

Вечером семья приступала к изготовлению цветов...

Только после выполнения «урока» дети шли гулять. Летом, вместо отдыха, собирали в лесу ягоды, запасая их на зиму. Если игры переходили границы дозволенного, мать пресекала баловство: «Ну-ка, давайте домой». Слушались ее беспрекословно, «и разговору не было», чтоб не повиноваться. За крупные провинности принимали соответствующее наказание. «В угол ставили и есть не давали. А то и ремнем получали. Отец распоясывается и ремнем по заднице, ни по чему другому».

Многодетные Кондратьевы в тридцатых годах еле-еле сводили концы с концами, хотя при всех лишениях и тяготах семья жила дружно и «интересно». Соседи Черевичкины, напротив, благоденствовали. Хозяин работал в городе и «возил» в дом деньги. Своей дочери Нюше родители постоянно дарили красивые вещи и одежду. Однако ей это впрок не шло и только отдаляло от сверстников. «Она выйдет к нам на улицу: “Смотрите, мол, вот как я оделась!” Но потом с ней никто не стал дружить. Зато к нам все ходят в гости. Как кто пришел, стол разложим, все картошку в кожуре едим, да с капустой лупим. А она одинокая была, очень гордо себя с людьми держала»<sup>78</sup>.

Кондратьевы жили-выживали, как большинство российских крестьян того страшного времени. Их разоряли, облагали налогом, реквизировали «излишки» – то сарай разберут и увезут на «государеву» потребу, то придут «товарищи», подымут половицы в избе (Степан сам сте-

лил в свое время шестидесятимиллиметровые доски) и выгребут из подпола всю картошку, то лошадь сведут со двора – а хозяйева как бы и не унывают, тянут лямку повинностей, многочисленных обязанностей, подымают детей. Главное – вырастить молодую поросль, пристроить на работу (о получении образования, большего, чем давала сельская школа, не думали, не было на то возможностей), обустроить их настоящее (женить или выдать замуж), чтоб тянулся род и в будущее. И получалось так, что власть могла разорить их хозяйство, свести на нет тяжкие трудовые усилия и накопления нескольких крестьянских поколений, но, несмотря на это, люди жили, и неуничтожимым оказывался строй их бытия, их верования, их представления о насущном. Крестьянский миропорядок держался, в первую очередь, не на экономических связях, «частнособственнических», как именовали их социалистические теоретики, а на человеческих. Экономике можно (и нужно) разорить для дела революции. Но как быть с людьми?

## 17

Сохранились скудные подробности взаимоотношений между Марфой и Степаном.

В доме Кондратьевых было три Библии (две из них – на церковно-славянском), Евангелие и несколько книг духовного содержания. Когда у супругов выпадала редкая свободная минута, они садились за стол, и Степан Кузьмич читал вслух.

Марфа всегда старалась мужа поддержать, подбодрить. Одно время, уже в начале колхозов, он занимался организацией деревенской чайной, устроенной в доме раскулаченных. Эта идея принадлежала ему: зубцовским

старикам негде было общаться. Однажды зимой возвращался на санях из-за Киржача, дорога шла лесом. Степан пребывал в благодушном настроении: выгодно продал в городе сено, детям вез гостинец, мед и конфеты, а для чайной – продукты, купленные на общественные деньги. «Я растянулся в санях, – вспоминал позже, – и мне даже подумалось: “Как хорошо!” Вдруг по оглоблям ударило бревно, лошадь дернула, я подскочил и погнал что есть силы. А сзади, когда я уже промчался, по земле ударили огромным колышком. Спасибо лошади, не подвела, а то бы мне досталось по башке». Но когда он удирал от грабителей, часть провианта вывалилась из саней. Уже дома обнаружив пропажу, Степан закручинился: «Что ж, лошадь теперь, что ли, продавать, чтоб вернуть недостачу?» Жена уговорила его повернуть обратно, поехала вместе с ним к лесу и нашла большую часть продуктов – сахар, конфеты, муку, уже присыпанные снегом. «Она тогда отморозила себе руки, лишь бы отец не ходил в должниках»<sup>79</sup>.

Младший из детей, Сергей, вспоминает: «Вечером заберешься на печь и смотришь оттуда на все, что в избе делается. Ага, вот мать спрашивает у сестер моих: “Чего-то отца нету?” – “А, где-то запели, говорят, значит, он там”. Он вообще степенный был по характеру, но если немножко выпьет, то обязательно поет и идет в компанию попеть песни. Мать пойдет на звук пения – и точно, он там. Приходят домой уже оба, вместе. Вообще ругани я дома никогда не слышал».

В доме часты были гости. К Марфе приходила ее подруга по храму, Аксинья, по прозвищу Куриха (Ксения Ивановна Куркова). Уже преклонного возраста, она в колхоз не вступала, держалась одинолично. Выжить ей помогала торговля мелкой галантереей: булавками, иголками, пуговицами. Товар копеечный (и продавала

его на копейку дороже закупочной цены), но в эпоху дефицита всем нужный. Ходила она за ним пешком, километров за двадцать, в районный центр.

В памяти Сергея Кондратьева от ее посещений сохранились теплые воспоминания: «Придет, бывало, Аксинья. Подзовет меня: “Сень, поищи у меня в волосах. Что-то голова чешется”. Вот начинаю – она нагнется, я сажусь – у нее искать. А в голове-то у нее ничего нет! А она говорит: “Как одну убьешь, так полкопейки заработал, две убьешь, значит, уже копейка”. Вот я сижу, ногтем щелк, щелк. Изображаю, чтоб щелкало, хотя голова у нее чистая. “Ну, вот, – она мне говорит, – видишь, на конфету и нащелкало. Вот тебе 15 копеек”. Вроде игра, а вроде я и при деле, и заработок получается. Это я помню хорошо».

И в Гражданскую войну, и в двадцатых годах кремлевские «мечтатели» с помощью выборочных расстрелов и методов экономического принуждения не смогли на свой лад переиначить жизнь русской деревни, превратив ее обитателей в покорную и безликую трудовую армию. Село существовало в каком-то своем, внепартийном, измерении и не хотело расставаться с представлениями о мире, выработанными предками. Не переводились среди крестьян своеобразные натуры<sup>80</sup>, для которых исполнение древних правил было не обрядовой формальностью, а прикосновением к вечному жизненно важному смыслу. Носители личностного сознания, они являлись для своей среды нравственными ориентирами, соединявшими настоящее с прошлым, укорененным в христианстве. Волна коллективизации должна была, по замыслу Сталина, навсегда смыть с лица земли эти несознательные элементы. Судьба Марфы была предрешена. Но случилось чудо: благодаря своей природной гибкости, душевности, мягкости она продержалась на

плаву очень долго и почти «доплыла» до более «удобного» и спокойного времени.

## 18

С организацией колхозов материальный достаток Кондратьевых резко снизился. После увольнения из треста Степан некоторое время заготавливал и продавал древесный уголь. Этим занимались многие мужики, что приводило к гибели зеленого богатства края. Однако другим путем получить «живые деньги» уже тогда, во второй половине двадцатых годов, было невозможно. В лесу около Зубцово росло много осин. «Вырывают на полянке ямы размером с избу, туда складывают срубленные деревья, поджигают их, а потом заваливают листьями и присыпают землей. Получается уголь, и папанька возил его в мешках в Ногинск. Там все уголь на самовары брали»<sup>81</sup>. Степан Кузьмич, как бывший староста, какое-то время продолжал пользоваться авторитетом, к нему по старой памяти приходили советоваться одиночники, да и члены партии (их было трое на округу) иногда захаживали поинтересоваться его мнением по тому или иному поводу. Трудно стало с работой. Отказавшись в свое время от сомнительной чести стать «выдвиженцем», он в колхозе смог устроиться лишь сторожем. Да еще косарям «отбивал» косы. Было у него особое, ювелирное чувство меры, необходимое для этой работы. Правда, еще имелось одно подспорье: ткацкая артель, в которой заправлял станки.

В сельском мире хозяин дома, муж, представлял интерес семьи перед общиной и перед государством, защищая домочадцев от внешних сил<sup>82</sup>. Но в годы Великой Чумы, обрушившейся на российское крестьянство, Кон-

дратьев как-то поник и постарел, почувствовав свое бессилие перед разорителями. В это время семья в большей степени держалась на внутренней энергии Марфы, на ее нравственном авторитете и душевной крепости.

## 19

До нас дошел пожелтевший от ветхости снимок начала двадцатых годов. Молодые Степан и Марфа Кондратьевы стоят в каком-то палисаднике рядышком – словно в армейском строю. Муж на правом фланге, высокий, в руке держит шляпу, смотрит спокойно; сразу заметно, что мужик мягкий, покладистый, бывалый; жена ростом пониже, от неловкости не знает, куда деть руки, в выражении ее лица и всей фигурки проступает характерная твердость, примета устойчивого, внутренне надежного человека. Здесь ей не более тридцати лет. Супруги запечатлены в начале совместного пути, в надежде на лучшее будущее смотрят вперед, на вылетающую из фотообъектива «птичку». Гамаюн-птица напевает им о нехитром крестьянском счастье. Ладный дом, толково скроенное хозяйство, дружная семья, сообразительные, работающие, почтительные дети. Каравай благословленного, вымоленного достатка, растущего как на дрожжах. Спустя всего десятилетие, на другом фотоснимке, Марфа выглядит уже пожилой, изможденной женщиной, тревожно всматривающейся в будущее, словно примериваясь к предстоящим трудностям. Она заснята здесь в окружении своих четверых детей и маленького племянника. На лицах детворы, одетых аккуратно и чисто, но бедно, также лежит печать тревоги. Нельзя избавиться от ощущения того, что это снимок затравленных узников гетто, в которое загнали российских крестьян. «Как

выжить?» – это единственный вопрос, который занимал тогда деревенский люд.

В тридцатых годах (а последний снимок датирован 1931 годом) гибли устои русской деревни. Взнузданное новыми хозяевами, загнанное в казарменные условия жизни, крестьянство должно было бесплатным трудом поднимать мощь пролетарского государства, готовившего мировую революцию. А что происходило за горизонтом, окаймлявшим сельский мир?

В Западной Европе деревня также претерпевала кардинальные перемены. Менялись условия труда, урбанизировался быт, разрушались привычные связи. Изменения там обуславливались экономическими, а не идеологическими причинами, и поэтому между городом и деревней сохранялись не только традиционные взаимосвязи, но и главное – *доверие* друг к другу. В это же время в Советской России между закабаленными крестьянами и обездоленными горожанами, кажется, навсегда установились взаимоотношения перманентной «холодной» войны и отчуждения<sup>83</sup>.

После потрясений, вызванных Первой мировой войной, западный мир лихорадочно устремился к поискам утраченного благополучия, к обретению «новой интимности». Все условности цивилизации должны быть отринуты в пылу земной страсти. Под медные, нервно пульсирующие звуки джаза, в жарком ритме танго люди искали убежища от давящей прозаической реальности. Но в то же время в массовой культуре крепла идея, что чувства могут расцвести только тогда, когда они наполняют здоровое, физически крепкое тело. Культ физического здоровья и бюргерского, сытого благополучия преподносился массам как высший жизненный идеал не только в нацистской Германии или коммунистическом СССР, но и в странах западной демократии.



Сталин требовал от «мастеров культуры» создания художественных образцов социалистического счастья. Идеальный советский человек должен быть физически здоровым, психологически устойчивым коллективистом. Но и «гомо советикусу» позволено иметь сильные, страстные чувства. До конца сороковых годов государство поддерживало джазовый оркестр Леонида Утесова. Дрожащий сладкий баритон эстрадного певца звал к наслаждению «любовью». «Сердце, тебе не хочется покоя...» – неслось из репродукторов в парках и домах культуры и отдыха». Страна маршировала под многочисленные революционно-военные мелодии, но в частной жизни разрешалось утешаться эстрадной лирикой страстных переживаний:

Утомленное солнце  
Нежно с морем прощалось,  
В этот час ты призналась,  
Что нет любви.

Дозволялось даже умиляться слезным признаниям урки, перевоспитанного советским концлагерем (в блатных песнях, звучащих со сцены, тема «перековки» уголовников была обязательной):

Скоро кончится срок приговора,  
Я с горами, с тайгой распрощусь,  
И на поезде в мягком вагоне,  
Дорогая, к тебе я вернусь<sup>84</sup>.

В тридцатых годах в официальном искусстве происходит характерный сдвиг, идеология несколько потеснилась, дав место лирическим переживаниям. Но эта лирика была особого рода, сосредоточенная на мажорных эмоциях. Подразумевалось, что их источник коренится в глубинах советской мифологии: образах счастья, веселья, материального благополучия, стихии здорового эмоционального переживания. Новая идиллия предлагала человеку верить в то, что он живет в мире изобилия, освобожденном от страданий и боли. «Как ни парадоксально, – отмечает ученый-филолог, – реабилитация фольклорной традиции, которая до этого считалась реакционным явлением, произошла непосредственно после разорения русской деревни»<sup>85</sup>. Тяжкие лишения, голод, репрессии, давно ставшие реальной обыденностью, под напором оптимистического лиризма превращались в призрак. Новая поэтика порождала удивительную логику, обобщенную уже нынешним исследователем: «Родина поет, а хлеб растет»<sup>86</sup>. Подобное миро-

чувствие прививалось народу, с тем чтобы легче было им манипулировать. Однако крестьяне, составлявшие это большинство страны, долгое время не принимали этот духовный яд.

Сергей Кондратьев вспоминает, что зубцовские жители любили петь. «До войны у нас еще пели. Это было что-то бесподобное. Вот идут женщины на луг, сено ворошить. Мужики там накосят, а бабы позже валки разгребут, чтоб сено сушить. Собирались они возле одного из домов – и с песнями на луг. Пришли. Занимаются своим делом. На обед идут – опять с песнями. Этот хор до сих пор стоит у меня в ушах. Распевы, переливы, перехваты такие, что прямо заслушаешься. И такой же замечательный хор, женский, был у нас в храме. Мама любила песни, но, конечно, больше церковные».

В эпоху коллективизации религиозное песнетворчество явилось для крестьян, пожалуй, единственной возможностью запечатлеть в слове свой трагический опыт. За исполнение и переписывание бесхитростно сложенных кантов (так называются внецерковные стихи религиозного содержания), сочиненных безымянным верующим простолудином, советская власть карала немалыми лагерными сроками<sup>87</sup>. И это воспринималось и гонимыми, и гонителями как должное. Все понимали, что в кантах отображено настроение народа, его действительные боль и мука<sup>88</sup>. В Стране Советов назвать вещь своим именем являлось политическим преступлением. Если герой официальных массовых лирических песен весело шагал по просторам родины, то в кантах всячески подчеркивалось, что душе человека нет убежища в современном, нравственно одичавшем мире. Следующие строки распространеного в тридцатых-сороковых годы канта, могла слышать и Марфа. Во всяком случае, они выражали правду, созвучную ее сердцу.

Дремлет в знойном поле  
Тонкая пшеница,  
Храм стоит знакомый,  
Зайду помолиться.

Призывая Бога,  
В храм вхожу с любовью.  
Зарыдало сердце,  
Облилося кровью.

Весь алтарь разрушен,  
Престол опрокинут,  
То сиял огнями,  
А теперь покинут.

На святых хоругвях  
Каркают вороны,  
Топором разбиты  
Божии иконы.

...Раньше Русь рождала  
Витязей бесстрашных,  
А теперь рождает  
Лишь громил ужасных.

Милосердный Боже,  
Что творится с нами?  
Плачет мое сердце  
Кровью и слезами<sup>89</sup>.

Для крестьян характерен практический взгляд на жизнь. Как бы ни было тяжело в столетия прежнего, царского, крепостничества, они находили возможность для созидательного труда и морального приятия бытия. Но

немногие годы социалистической Муравии обострили в сельских работагах трагическое, во многом безнадежное мировосприятие. Выхода не было. Спасение могло прийти только с небес.

## 20

...Шли годы. Жизнь старших детей постепенно налаживалась, одна из дочерей вышла замуж, Иван отделился и жил у тещи в Мамонтово, Ольга с шестнадцати лет ушла в город на фабрику, и ее заработок, который она отдавала родителям, стал для семьи существенным подспорьем. Казалось, что старость, приближение которой предчувствовалось Марфой с особенной остротой, обещает принести долгожданный покой.

В последний предвоенный год на одной из стен кондратьевской избы появился даже парадный фотопортрет супругов. Они помещены фотографом в каноническую рамку благополучия и достатка: муж в черном пиджаке и полосатом галстуке, повязанным поверх белой рубашки; жена в платье с кружевным воротничком. (Где уж раздобыл Степан Кузьмич атрибуты городского франта, история умалчивает. Может быть, приобрел на кровные, во что верится с трудом, а возможно, взял напрокат в том же ателье. Каждая мало-мальски стоящая на ногах крестьянская семья считала необходимым иметь в доме такой же, как бы из розового воздуха сотканный, образ своего процветания.) На лицах не видно морщин – изображения тщательно отретушировали. Районный фотограф умел превращать суровую реальность в идиллическую картинку. Но за тяжелыми портретами фотомастерской уже чувствовалось приближение грозы.

# Гроза 1941-го





## 21

Гроза грянула незадолго до пятидесятилетия Марфы Ивановны: 22 июня 1941 года объявили о новой войне с Германией. События покатились с невероятной быстротой. В первый же месяц Иван ушел в Красную Армию, осенью призвали и Николая, несмотря на его физический изъян (бельмо на одном глазу), а несовершеннолетнюю дочь Машу, которой только исполнилось семнадцать лет, направили на рытье окопов.

Всенародные бедствия, объединяя общим горем множество частных судеб, обостряют в людях давние личные боли и переживания, в обычном состоянии тлеющие в углу чувств, и делают их уязвимыми к уколам и тяготам, с которыми до того нервы вполне справлялись. Появляется опасная психологическая неустойчивость. Марфа Кондратьева по природе была человеком душевно щедрым и эмоциональным, но врожденный ум и реальность научили ее сдержанности, умению где нужно промолчать, ладить с людьми разных убеждений. «Врагов у меня нет», – уверенно заключала она. Об ее уживчивости, способности примирять с собой окружающих говорит ее деятельность в зловещих тридцатых годах: она сберегла два храма, и в то скользкое в нравственном отношении время не нашлось иуды, который бы захотел ее продать.

## 22

Среди низов общества коммунистическая система выращивала своеобразный класс надсмотрщиков (в чем-то они походили на опричников Ивана Грозного с их символической мертвой собачьей головой у конского седла)<sup>90</sup>, для каждого из которых воля Хозяина – закон. Инстинкт самосохранения заставлял выполнять приказы, невзирая на средства, не считаясь с человеческими жизнями (умри ты сегодня, а я завтра – это правило уголовного мира распространилось на всю страну). Но новыми опричниками двигал не только страх за свою шкуру. В исполнительности они обрели смысл существования, иступленно служа идолу всемогущего государства. (Так отвергнутая религиозность возвращается в извращенном виде идолопоклонства.) Маленькие сатрапы должны обладать тончайшим, прямо-таки звериным чутьем и безошибочно определять белых ворон в коллективе. Способность в нужный миг найти требуемую жертву – залог успеха в карьере советского управленца.

В той местности и в ту краткую, с исторической точки зрения, эпоху, в которую выпало жить Марфе Ивановне, ушами, глазами, руками центральной власти служили два Михаила: председатель зубцовского колхоза Михаил Егорович Архиреев (1892 года рождения) и секретарь парторганизации Михаил Степанович Серов (1903 года рождения). Но они не смогли бы справиться со своей работой без опоры на *актив* (словечко, любезное поколениям карьеристов), расширявший возможности их воздействия на народные массы. Приводными ремнями местного руководства (и кадровым резервом власти на селе) в те годы являлись колхозные бригадиры Василий Захаров и Николай Жданов.

Марфа часто ходила пешком в дальнюю деревню Песьяны, отстоявшую от них километров на двадцать. Навещала она проживавшую там подвижницу Ефросинию (1873–1968), почитавшуюся народом. Ростом с восьмилетнего ребенка, калека (ноги, сызмальства пораженные болезнью, были согнуты в коленях), по виду неопределенного возраста, всегда одетая в длинную юбку со сборками и кофту навыпуск, Ефросиния одно время жила в монастыре «Отрада и утешение» близ Калуги, а после его разорения вернулась на родину и поселилась у родственников. К ней приходили с просьбой о молитве, в силу которой верили, за советом в тяжелых, часто самых неожиданных, житейских обстоятельствах, за моральной поддержкой<sup>91</sup>. Когда однажды у Кондратьевых стала по неведомой причине падать домашняя скотина, Марфа Ивановна побывала у Ефросинии, и по молитвам последней падеж прекратился. Власти постоянно преследовали монахиню (часто увозили в отделение милиции, сажая там под арест, но потом отпускали из-за ее инвалидности), требуя, чтоб та перестала принимать людей, но она продолжала «утешать» народ. После посещений подвижницы Марфа испытывала внутреннее облегчение от подступавших к сердцу переживаний. Иногда приводила и своего «последыша», младшего сына Сергея, «Сереньку», как ласково его называла, чтоб Ефросиния помолилась о его душе. Многие могут вынести русский человек, если знает, что за него молится праведник.

# 23

Но осенью 1941 года терпение у Марфы истощилось. И не то чтобы она как-то особенно вознегодовала на новоявленных крепостников или под горячую руку совершила что-то из ряда вон выходящее. Она просто назвала вещи своими именами. Сказала слово правды о тех, кто не давал ее близким спокойно жить.

Обстоятельства происшедшего можно восстановить лишь частично, используя устные свидетельства детей Кондратьевых, а также материалы ее «дела». Описывая случившееся с матерью, даже ее дети расходятся в существенных деталях. Непреложным, однако, остается одно: непосредственным поводом для гонений стало заступничество за ближних. Главной же причиной ареста явилась «неблагонадежность» Марфы Кондратьевой с точки зрения советской власти, принадлежность к «активным религиозным элементам».

**Версия первая.** Разболелся девятилетний сынишка Кондратьевых, Серенька.

Для родителей, пусть и стоящих на последней ступеньке социальной лестницы, наблюдать рост собственных детей, их постепенное возмужание, помогать им найти собственную дорогу означает не просто выполнение долга, а приобщение к высшему смыслу существования. Семья, находящаяся на грани нищеты, в вырастающих детях видит возможность более счастливого будущего. Поэтому нет ничего преступнее для государства, как убивать эту надежду, настолько закабалая отцов и матерей, что они уже не в состоянии должным образом заботиться о своих чадах.

Осенью 1941 года Сергей занемог. Для лечения необходимо было время от времени возить мальчика в больницу. Вспоминает его старшая сестра, Ольга:

«Мама пошла в правление колхоза – лошадь попросить, снесла там председателю осьмушку табаку, и он пошел ей навстречу. На второй раз опять снесла какое-то приношение... Ну, дал Архиреев лошадь, чтобы до больницы довести. А тут мать вновь приходит с просьбой – с мальчишкой так стало плохо, что, казалось, не выживет, а председатель, вместо того чтобы дать ей лошадь и помочь довести до Боровково за четыре километра, отдал лошадь другому: тот керосин ему принес. Ну, мать ему говорит: “Ты знаешь чего, Мишук? Вот взошел ты в колхоз, ничего туда не принес. А мы все отдали. И лошадь отвели, и сарай сломали, несмотря на то что такая большая семья”. “Ты ж получаешь, – говорит, – взятку. И берешь взятку-то за мою же, – говорит, – лошадь. А мальчишку-то своего я без лошади не донесу”. Вот это она сказала, и больше у нее никогда никакого не было с ним разговором. Она по натуре такая приветливая была, старалась никого не обидеть. А здесь у нее, видимо, уже не хватило терпения, и она это так ему сказала».

**Версия вторая.** (Автор склонен ее считать наиболее вероятной.) Болезнь мужа. В первую же военную осень приступы тяжелого недуга свалили Степана Кузьмича. Из воспоминаний его дочери Марии вырисовывается настоящая драма:

«В ту пору папанька ездил на луг за сеном для колхоза. И как-то раз навильником поднял на воз много сена. Ну и сорвал мочевой пузырь. И он сорок раз на часу мочился кровью. Капнет – и все, капнет – и все. Он в маминой рубашке, без порток ходил. В больницу в Боровково его не кладут. Там нужных врачей нету, там фельдшера одни. А он кричит на крик. Надо было его срочно в больницу в Глухово<sup>92</sup> везти. Мама пошла просить лошадь, чтоб его отвезти в больницу. Он же в колхозе

надорвался, на колхозных-то работах. Его оттуда, с луга, еле живым привезли.

Криком кричал папанька день и ночь. Мать пошла и у бригадира все-таки выпросила лошадь. Захаров же (он там был начальником) матери лошадь не давал. А этот бригадир дал (кто бригадиром работал, я не знаю). Мама запрягла лошадь, едет. И Захаров у нее отымает лошадь! Тогда она у него вырвала вожжи и его один раз ударила этими вожжами. И сильно они с Захаровым тогда ругались. И вот на второй или на третий день после всего случившегося мамы уже не было с нами. Ее сочли врагом народа. А отец так и остался. Он долго мучался. Наконец соседи сходили в боровковский сельсовет: «Почему не даете лошади? Человек умирает, криком исходит!» Все-таки дали лошадь. В Глухово его и вылечили».

## 24

Когда случилось столкновение Марфы с колхозным начальством? Точную дату определить невозможно. Данные, содержащиеся в следственном деле, косвенно говорят о том, что событие произошло в период между второй половиной октября и концом ноября 1941 года. Более того, эпизоды, описанные дочерьми со слов родителей, на страницах «дела» не встречаются.

Вообще, исходя только из материалов НКВД, восстановить объективную картину нельзя. Для «органов» всегда было важно ухватить в свои щупальца человека, а уж конкретные обвинения, по какой статье его «провести», они «оформляли» в соответствии с государственным заказом, поступившим на данный момент сверху. Но в мозаике следственных фальсификаций попадают

ся отдельные фрагменты, несущие на себе отпечаток действительных событий.

Председатель колхоза Михаил Архиреев на допросе кратко, в общих словах рассказал о столкновении с Кондратьевой:

«На днях она приходила в правление колхоза, просила у меня лошадь, и когда я ей отказал, так как лошади были заняты, она начала говорить угрозы... То же самое она мне заявляла и на конном дворе колхоза»<sup>93</sup>.

Все. Остальную часть его лапидарных показаний занимают идеологические ярлыки, навешиваемые на обвиняемую. Какие же «угрозы» он от нее услышал?

– Придут немцы, мы вам покажем.

**Версия третья.** Обличения Марфой местных коммунистов в малодушии: сидят в тылу за спинами простых людей – и якобы выраженная ею надежда на Германию как вероятную избавительницу от безбожной власти. Самый сомнительный извод происшедшего. Из всех категорий советских людей колхозники, более чем кто-либо другой наученные горьким опытом жизни, были, пожалуй, наиболее осторожными и в словах, и в поступках. Однако в крестьянской массе рядом с великим терпением всегда жила стихия бунта. Крепостной и в прежние времена мог сорваться и бросить в лицо самодуров-начальников слово беспощадной правды.

Следственные дела крестьян, датированные военными годами, переполнены резкими выпадами в адрес правительства и коммунистов<sup>94</sup>. Это обстоятельство, с одной стороны, красноречиво указывает на Лубянку как на заказчика подобных словесных штампов, считавшихся значительным уголовным «преступлением». Но, с другой стороны, в какой-то степени отражает и отчаяние народа, доведенного издевательствами чиновников до крайности. Отчаяние, неосмотрительно выплеснувшееся

в гнев, в дерзкие, кипящие негодованием слова, записанные доносчиками. В самом деле, почему рабочий человек, доведенный наглým поведением местной знати до белого каления, не может пригрозить ей возмездием?

Для находящегося в здравом уме человека угрожать коммунистам приходом фашистов означало подписать себе смертный приговор. Для крестьянки, никогда в глаза не видевшей живого немца (разве что на фотографии в газете) и далекой от политики, подумать так и то было бы невозможно. Для матери, чей старший сын уже сражался с оккупантами, а другой готовился к отправке на фронт, угрожать кому-то приходом захватчиков противостоит естественно. Но для партийных руководителей подобная логика была вполне органичной, ибо они видели главного противника в своем народе. По их представлениям выходило вполне естественным, что ожесточенные, несознательные массы только и мечтают о свержении советской власти.

За несколько тысяч километров от Зубцово, в сибирском селе Демьяновка дремлющие «органы»<sup>95</sup> в июле 1941 года арестовали крестьянку Матрену Чучалину. Эта сорокатрехлетняя малограмотная колхозница до того зашла в своей ненависти к существующему строю, что, находясь на полевых работах, прилюдно выразила сокровенное желание: «Хотя бы скорее перевернулась советская власть, мы бы еще Богу помолились». И – поразительное совпадение с историей Марфы Кондратьевой – в то время, когда Чучалина якобы «желала победы фашистам», двое из семи ее детей находились в действующей Красной Армии. Обе женщины глубоко религиозны, многодетны (семь чад у Матрены и семь у Марфы)<sup>96</sup>, обеих тружениц местные начальники обвиняли в отлынивании от колхозной работы и от «общественных» обязанностей. Следствие, для пущей убедительно-

сти, старалось и ту и другую представить на страницах дела злопыхательницами, склочницами, ругающимися с соседями по малейшим пустякам, нарушителями общественного спокойствия. Так слаженно работала карательная машина по всей стране: «от Москвы до самых до окраин».

Осенью 1941 года гитлеровцы вплотную подошли к столице. 15–16 октября в городе началась паника, спешная эвакуация начальников разных мастей<sup>97</sup>. А за передовой линией фронта, позади армейских частей, несших огромные потери в боях, стояли заградотряды, имевшие своей целью угрозой расстрела удерживать бойцов на позициях. Советское руководство с начала войны требовало всемерного ужесточения репрессий в отношении общества, которое должно было расплачиваться за бездарную и преступную политику своих вождей. Аппарат насилия всегда представлял собой не просто важнейшую составную часть коммунистического государства, он выражал суть последнего, его идейное содержание. Ответственные партийные и советские работники вместе с чекистами – это образцовые граждане страны, прочие жители которой должны на них равняться. Любая критика в адрес этих «избранных» являлась тяжким преступлением против государства. Уже в первый период войны, когда гибли целые дивизии, когда армии попадали чуть не в полном составе в плен, когда из-за элементарной бесхозяйственности власти распадались и жизнь миллионов рядовых людей, была начата кампания по выявлению замаскировавшихся врагов.

В правительственных «Известиях» появляются полудирективные статьи за подписью майора госбезопасности Попкова (несомненно, псевдоним), название одной из которых знаменательно: «Бдительность и еще раз бдительность!»

«Еще в 37 году тов. Сталин указывал: “...вредители обычно приурочивают главную свою вредительскую работу не к периоду мирного времени, а к периоду кануна войны или самой войны”. Сейчас наступил такой период... В свое время мы разгромили врагов народа... Но остатки разбитых контрреволюционных групп еще существуют, они сами ищут связи с фашизмом»<sup>98</sup>.

«...Всюду и всюду бдительность, бдительность, обостренная до умения распознавать врага, как бы он ни маскировался, – таково должно быть правило поведения каждого советского патриота в военное время»<sup>99</sup>.

Собирательный портрет очередных «врагов» можно найти в начальственных инструкциях, приказах и газетных материалах того периода. За деталями конкретных случаев, описанных суконным языком чиновничьих репортажей, мы видим миллионные народные массы. Здесь и просто «подозрительные личности», не вызывающие симпатий у бдительных держжиморд, и лица, «не внушающие политического доверия». Это беженцы, вышедшие из немецкого окружения; красноармейцы, «семьи которых остались в оккупированных немцами областях»; раскулаченные, единоличники, бесчисленные родственники бесчисленных репрессированных советской властью, все те обширные категории населения, чьи «биографические данные являются сомнительными», те, кто утратил «военно-политическую бдительность» (сюда, с одной стороны, могли попасть военные медсестры, заведшие роман с офицерами, а с другой – «двоеженцы», запустившие партийную работу, несознательные элементы, поддавшиеся немецкой пропаганде, и т. д. и т. п. – перечень уходит в бесконечность), и, конечно, недобитые приверженцы «капиталистического» прошлого<sup>100</sup>. В конце концов в этом много- и разноликом изображении «внутреннего вредителя» узнается рядо-

вой человек, изможденный действительностью, задавленный ярмом государственных повинностей и недоброжелательности над ним чиновниками. Именно в этих несознательных «винтиках», как всегда, и заключалась причина всех бед советской державы.

Очередная кампания обычно начиналась с руководящих статей в центральной печати. Районная пресса подхватывала заданный тон и отражала директивы сообразно местным обстоятельствам. Однако на этот раз описывать действия разоблачаемых «врагов народа» в провинции сочли нецелесообразным. Тень от злодеев могла упасть и на доблестные «органы», попустившие противнику спокойно существовать в глубинке. Во всяком случае, ногинская районка ограничилась обличениями «спекулянтов», «лодырей», «нарушителей трудовой дисциплины», «расхитителей социалистической собственности», нерадивых чиновников мелкого пошиба, колхозников, «злостно уклоняющихся от госпоставок». Местных «контрреволюционеров» (то есть всю 58 статью) журналистские перья не трогали. Но это не означает, что в военном трибунале (а именно он тогда осуществлял право-, а точнее, кривосудие) не проходили дела «антисоветчиков». Чекисты не покладая рук выискивали социально чуждых и вскоре из разоблаченных «отдельных элементов» скотили на бумаге целую контрреволюционную «фашистскую» организацию религиозников. (А раз «организация», значит, приговоры беспощадней, значит, хранителям «государственной безопасности» очередная звездочка на погоны, а то и орден на грудь.)

Марфе Кондратьевой, помимо ее воли, суждено было попасть в одну из таких «преступных групп». А перед оперуполномоченным НКВД стояла важная задача: убедительно отразить в материалах дела конкретное преступление колхозницы. Незначительный эпизод – «разговор»,

как его определил следователь, – происшедший 18 октября с Марфой Ивановной и описанный ею на допросе, дополняет картину ее «вины».

«18 октября я ехала на боровковской автомашине из Боровково до Мамонтово к своей снохе, чтобы известить ее о призыве моего сына, а ее мужа в Красную Армию. В машине вместе со мной ехали грузчики с фабрики Михеев и Малков. Также ехали с нами Захаров Василий из деревни Зубцово и мой сын Сергей. Дорогой Захаров меня начал спрашивать, куда я еду, зачем везу какую-то сумку и т. д. Мне его слова показались обидными... В споре с Захаровым я ему заявила: “Хорошо тебе смеяться, ты ходишь дома с такой харей, а у меня один сын уже в армии и раненный, да вот второго берут, несмотря на то что у него один глаз. Надо бы тебе идти защищать родину, а ты с такой шеей сидишь дома, кому-кому, а вам, коммунистам, надо было бы первыми идти защищать родину-то, а вы дома сидите”<sup>101</sup>. Большого я ничего не говорила. У Мамонтово я сошла, а автомашина и люди поехали в г. Ногинск»<sup>102</sup>.

Василий Леонтьевич Захаров, столь кратко, сколь и сочно охарактеризованный Марфой Ивановной, обладал не только отменным физическим здоровьем, но и пьянящим чувством хозяина жизни. Про других ему всегда все надо было знать; односельчане еще и сейчас вспоминают, что по его доносам у многих случались неприятности. После войны он станет председателем зубцовского колхоза, который и доведет благополучно до разорения<sup>103</sup>. Повышение это, весьма вероятно, связано с делом Кондратьевой, о клевете которой на члена ВКП(б), то есть на себя самого, он и сообщил куда следует<sup>104</sup>. Обид он не прощал.

Старожилы называют его «гестаповцем». В 1948 году он устроил в деревне показательный процесс против тех крестьян, которые, совмещая членство в колхозе с

трудом в ткацкой артели, не выполнили месячную норму выработки трудодней (вместо положенных шестидесяти за каждым из них значилось по пятьдесят восемь трудодней). «Нас чуть не выселили на Север, – вспоминает М. И. Гражданкина, – но мы добились пересуда и в конце концов оправдания».

«Про Василия Леонтьевича я не скажу ни капельки хорошего, – продолжает она. – Он был хуже пса, он нас всех измучил и всю деревню разогнал. Раньше в деревне было сто с лишком домов. Но люди рады были все продать, сунуть Захарову деньги, чтоб только отпустил их прочь из колхоза»<sup>105</sup>.

Болезнь близких вновь заставила Марфу Ивановну идти на поклон в правление колхоза. Обратившись туда за помощью 3 ноября, она натолкнулась на неприятный разговор. Парторг Михаил Серов требовал, чтобы она непременно – в осенние дожди и грязь – направила пятнадцатилетнюю дочку Шуру на тяжелые полевые работы<sup>106</sup>. В подневольных «воспоминаниях» Марфы Ивановны о том дне вновь отчетливо проступает боль матери за своих детей (старшая Ольга работала на оборонном предприятии, средняя Маша также тянула лямку на «трудовом фронте»; обеих периодически посылали на рытье окопов под Ногинск):

«...я зашла в правление Зубцовского колхоза попросить лошадь, там находился Серов М. С., с которым я говорила о посылке людей на остолбление полей<sup>107</sup>. В разговоре с ним я ему сказала:

—...Вы у меня третью дочь гоните работать, а хлеба-то даете только 250 грамм. А вот подруги ее совсем и в списках нет, почему же вы ее не берете работать?»<sup>108</sup>

Какие-то подлинные слова Марфы из того разговора, по-видимому, сохранились и в показаниях Серова. Например, следующие:

# 25

**Бригадир Жданов** в раскулачивание проявлял большую активность и, по меткому деревенскому словцу, «пожил» в каждом доме, забранном у выславшихся зубцовских крестьян. Вот его показания:

«Кондратьева... давно антисоветски настроена, *активная церковница, колхозным строем вечно недовольна*<sup>111</sup>, так, например, в дни коллективизации она мне лично заявляла: под окном не сиди, добра от меня не получишь. *В прошлые годы* мы колхозников собирали на покос, а она ходила по домам, собирала деньги и агитировала идти на молебен, так и до сих пор она питает вражду к колхозному строю. Так... руководителей колхоза, например, Архиреева называет взяточниками и говорит другую клевету. В настоящий момент все ждет победы Гитлера, так, например, недели две назад в колхозе в деревне Зубцово она женщинам заявляла: «Вот придет Гитлер, мы здесь всем покажем, это сейчас нам некому жаловаться-то, нас и за людей не считают». Да еще и многое говорила, но я не придавал этому большого значения, а потому точных ее выражений я не помню.

Очень она говорила клевету по адресу коммунистов, продавала просфиры, церковные свечи, делает цветы и всеми этими делами занимается до сих пор»<sup>112</sup>.

**Показания парторга Серова идеологически выдержаннее:**

«Кондратьева... будучи активной церковницей, открыто высказывает свои враждебные настроения по вопросам всех мероприятий, проводимых партией и правительством. Еще очень давно, примерно в 1932 г., колхозников в один из религиозных праздников собирали на работу, а Кондратьева с другими

«Вы этой работой только мучаете людей. Люди ходят разутыми и раздетыми, им хлеба не дают... а вы их заставляете работать».

За полтора осенних месяца 1941 года – как раз в тот период, когда Сталин, втайне от союзников, искал путей заключения сепаратного мирного договора с фашистами<sup>109</sup>, – пришлось колхознице Марфе Кондратьевой бросить в лицо местным «князькам» несколько горьких, обличительных слов. Она знала, что ее за это ждет. Вернувшись домой после столкновения с Василием Захаровым, Марфа сказала домочадцам: «Теперь мне здесь житья не дадут». Подозвав детей, обратилась к ним (и ее слова запали в их души, став своего рода предсмертным завещанием матери): «Дети! Не отчуждайтесь друг от друга. Держитесь друг за друга. Берегите отца».

Сейчас уже не важно, кто первым донес. Очень может быть, что инициатором стал председатель колхоза Архиреев, по прозвищу Огурец. Существенней, что, по представлениям Марфы, измываться над трудягами могут только взяточники и трусы, каковым и воспринималось ею колхозное руководство. В их-то распоряжении всегда были подводы, и им домой, по указанию председателя, присылали все необходимое для личного хозяйства. Вполне закономерно, что за ее упреками они увидели не только угрозу личному благополучию, но и угрозу системе, которая их кормила. Критиковать представителя власти мог только классово чуждый элемент. Настроения Кондратьевой доноски объясняют ее религиозностью. В каком-то смысле они правы. Будучи христианкой, она, прежде всего, воспринимала активистов не как «начальников», поставленных от Бога, а как воров, корыстно заинтересованных поддерживать несправедливую к людям власть<sup>110</sup>.

церковниками собирали деньги для церкви и увели часть колхозников на молебен. Позднее она была избрана на церковной двадцатке церковным старостой и при закрытии церкви все имущество привезла к себе на дом, за что привлекалась к ответственности Ногинским районным отделением милиции.

Принимала участие по сбору денег на содержание попа и заготовку дров для церкви. Во время выборов и организации колхоза она также высказывала недовольство колхозным строем. В настоящий момент состоит членом колхоза, а в колхозе не работает»<sup>113</sup>.

#### **Председатель колхоза, кандидат в члены ВКП(б) Архиреев:**

«Кондратьева... активная церковница, раньше была церковным старостой, настроена она антисоветски, в колхозе не работает, и, как только дашь ей наряд на работу, она отказывается или болеет, по ее словам...»<sup>114</sup>

Итак, в Ногинском районе обнаружена матерая церковница, очерняющая членов партии, враг колхозов, разрушительница общественного порядка, лодырь. Человек с такой характеристикой не может, не имеет права находиться на свободе.

## 26

В ночь на 6 декабря в избу Кондратьевых пришли незваные гости<sup>115</sup>. Следователь Платов возглавлял группу сотрудников из «органов», председатель Боровковского сельсовета Баранчиков и служащий профкома ткацкого комбината представляли общественность и заодно выступали понятыми, присутствовал и сержант милиции Лесков. Ольга, жившая с октября дома (завод готовили к эвакуации)<sup>116</sup>, вспоминает:

«Поздно вечером, когда они приехали, мы убирались в канун какого-то праздника<sup>117</sup>. Мама уже легла спать, постелила себе под станом. Стучатся. Мы открыли дверь. Зашел кто-то из боровковских, забыла кто. Вначале ведут обычный разговор. “Здравствуйте”. – “Здравствуйте”. А потом говорят: “Мы будем делать обыск”. Мы еще удивляемся: “Какой обыск? Господи! Чего у нас искать-то?”

Вначале попросили все наши паспорта. Я подала все паспорта. О маме они ни слова не упоминают. Начали делать обыск.

Зашли в сени, долго там рылись. Меня заставили лампу держать. В чулане большой сундук мамин стоял. Из чулана же шла лестница на чердак. Я открыла его, показываю им. Один наклонился и видит на дне сундука – лист от Библии лежит. Они к нему придрались: “Где Библия, где Библия?” Я говорю: “Вы ищите? Ищите”. И они полезли на чердак. Я им лампу все держала, светила».

Мария Челышева уточняет: «А под лестницей стоял маленький железный ящичек, как раз под Библию. Они на ящичек вставали, а Библию не нашли».

Ольга Семенчукова: «На чердаке много книг и учебников лежало, были книги религиозные, отец у нас очень любил читать. И они начали книги перебирать. Перебирают, перебирают. Потом попала им книжечка, такая маленькая, в черном переплете. Толщиной с палец. Я так и не знаю до сих пор, что за книжечка. Видимо, религиозная. Зачем им эта книжка? Вот я, убей меня, не знаю. Они ее забрали. Может, она и просто им понадобилась, для себя?»

Мария Челышева: «Книжку эту никуда не записали. Следователь ее просто положил себе в карман».

Ольга Семенчукова: «Потом нашли сломанный приемник с наушниками<sup>118</sup>. Раньше все, что не нужно из вещей, на чердак выбрасывали. Они к отцу придрались: “Почему

вы его не сдали? Сейчас все обязаны сдавать”. А он: “Мне все равно: валяется и валяется. Приемник давно не работает. Куда ж его сдавать?” Ничего больше они там не нашли и спустились вниз».

Сергей Кондратьев: «Больше всего они придрались вот к чему. Брат Николай в свое время нашел на дороге пистолет (ехал по делам работы на машине и натолкнулся на него). Этот пистолет он сдал в сельсовет (кажется, туда). И вот они наседают на родителей: “У вас, значит, оружие есть! Сдавайте оружие!” Хотя у нас в семье никакого оружия и в помине не было. Единственно, кто в семье занимался охотой, это брат Иван. Но он давно жил отдельно. Отец не касался таких дел, он только капканы ставил на куропаток. Зато у следователей нашелся хороший предлог для придинок».

Ольга Семенчукова: «У нас между печкой и стеной хранились церковные вещи, которые мама взяла из храма, когда он уже не работал. Она принесла чаши, из которых причащаются, принесла лжицы, и они, промытые и завернутые, лежали между печкой и стеной. Она говорила нам: “К этому ничему не касайтесь, нельзя”. Вот они нашли это все и маму вроде как укоряют, что чужое присвоила. Она объясняет: “Об этом все знают. Я даже в сельсовете сказала, что вещи священные принесла домой, чтобы их не украли”. – “А кресты?” Мама говорит: “Крестов я никаких не брала”. “Там, – говорит, – в алтаре закрыто, и я в алтарь не могу заходить. Я туда не заходила. Чаши я в сельсовет понесла, но их не взяла”.

Ну, вот, те, что из органов, говорят мне: “Нате документы”. Я считаю – паспорта одного нет. Начинаю смотреть и говорю: “Маминого паспорта нет”. Они: “Она с нами поедет”. Я говорю: “Как с вами?” – “Да, мы ее берем”. Я говорю: “Как?!” Мы все глаза вытаращили. Они: “Дайте ей во что одеться”.

Мама говорит: “Подайте мне что-нибудь”. Я на печку полезла, с печки чулки бросила, валенки подшитые, курточку.

Вот сестра Маша помогла маме одеться. Все, что было под рукой, все отдала: пиджак от костюма своего, пальто, шаль. Мама оделась так, как вроде ей на колодец идти, ненадолго.

А они тем временем от отца все денег требовали. У отца совсем немного было денег. Может, рублей сто. Он спрашивает: “Мы что же, совсем не должны держать денег на хлеб?” Ну, они тогда оставили его в покое.

Они говорят маме: “Ну, давай, иди вперед!” Маша, разутая, побежала к дому Байбовых. Черная машина стояла за их домом. Маша еще бежала за машиной, когда та поехала. Но где уж за ней угнаться? Дома четыре пробежала – и вернулась по снегу. Так маму увезли»

## 27

Байбовы жили от Кондратьевых через два дома, на той же стороне слободки. Отношения между двумя семьями были по-соседски доброжелательными. Одно время Кондратьевы ходили за водой к Байбовым, во дворе которых находился колодец. Последние перед войной годы, наоборот, Байбовы, чей колодец засорился, зачастили за водой к Степану и Марфе, вырывших у крыльца криницу. Ольга Кондратьева дружила со своей сверстницей и одноклассницей Шурой Байбовой. Обе работали на заводе в соседнем промышленном городке Электросталь, снимая одну на двоих комнату.

Клавдия Байбова, хозяйка соседнего семейства, изо всех сил набивалась к Марфе в подруги. Однако Клавдия Павловна обладала скверным характером. Когда к

## 28

ее детям приходили друзья, она использовала малейшее неуклюжее действие или слово с их стороны как предлог для ворчания. «Она, бывало, – вспоминает Ольга Степановна, – если просто не так шагнешь, по-всякому тебя обругает, самыми последними словами. Мы на выходной приезжали домой с завода, Шура часто к нам приходила, а я к ним редко. Тетя Клавдия была такая ехидная, что душа не лежала к ним заходить».

Соседская доброжелательность была напускной и обманчивой. Собственно, даже выказывая очевидный интерес к Марфе, Клавдия Байбова не могла сдержать проявлений своего жесткого характера. Но, возможно, она и сознательно провоцировала соседку на раздражение, надеясь, что та в гневе будет более откровенной. Во время первого допроса следователь спросил у Марфы: «С кем из местных жителей у вас были личные споры и скандалы?» Она назвала лишь Байбову, с которой «осенью мы немного поругались из-за картофеля»<sup>119</sup>.

После ее ареста сын Байбовых, Виктор, признался Маше Кондратьевой в том, что накануне 6 декабря его мать вызвали в сельсовет и дали задание: «Завтра за Марфой приедут. Гляди, чтоб она никуда не уходила, чтоб была дома!»

«Если б тетя Клава маме сказала о предстоящем аресте, то она бы сразу уехала в Москву, и все обошлось бы», – считает Мария Кондратьева. И эта точка зрения имеет под собой веские основания. (Ряд поразительных примеров того, как обреченные на арест люди, сбежав от преследователей из «органов», тем избавлялись от путешествия в концлагерь, приводит Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».) Так одна крестьянка подтолкнула другую, свою соседку, не сделавшую ей ничего дурного, к тюрьме и безвременной гибели в чужом краю.

По старинным народным представлениям, на одном конце крестьянского мира обитают праведники (молитвами и делами которых стоит земля), на другом – «лихие люди». Между этими противоположными полюсами человеческого общежития находится большинство, обычные «грешники», за души которых и идет сражение. «Святые» определяли нравственные и мировоззренческие приоритеты крестьянского общества, а «разбойники», закусив удила, превращали упорядоченный «микрокосм» деревни в хаос, отвергая своим бунтом смысл творения. И все же «бессмысленный и беспощадный» бунт пугачевых не отрицал устоев крестьянского мира, являясь в большой степени борьбой за «волю и землю». Не менее опасным для сельской общины было разлагающее влияние чиновничества и самодуров-помещиков, ограничивавших инициативу крепостных людей. Но и держиморды царского времени не посягали на мировоззрение рабов.

Коллективизация явилась новой, более усовершенствованной формой закабаления деревни, обрекая ее на неуклонное вымирание. Коммунистам удалось поработить крестьянский мир не только материально, но и духовно. Их «успех» в значительной степени определялся последовательным уничтожением тех крестьян, для которых, как и для Марфы, традиция была наполнена живым содержанием. В результате этой пирровой победы в деревне возобладали ябедники всех мастей; в отношении между людьми выцарились взаимное недоверие, отчуждение и зависть.

Зубцовская Клавдия Байбова согласилась следить за Марфой, возможно, добровольно, в силу своего «вредного» характера, но боровковские Груша Шелкова

## 29

и «Катка Наташина»\* превратились в доносчиков только из-за страха.

«Я не могу представить, как они на такое решились, – говорит о последних Ольга Семенчукова. – Это Серов, видимо, их призвал в сельсовет – а они в Боровкове жили как раз возле сельсовета – и потребовал, чтоб они подписались под всем, что он напишет от их имени. Они и подписали. Только так я могу понять их поведение».

Поразительны переплетения судеб человеческих в том адском плавильном котле, который создала политика революционного насилия в стране. Упомянутая «Катка» – это Екатерина Шаталина, дочь задушевной подруги Марфы, Аксины Курковой. Уже будучи замужем, она, вслед за матерью, поддерживала дружеские отношения с Кондратьевыми. И вот не устояла, испугалась угроз Михаила Серова... Сын же Аграфены Шелковой, движимый детскими воспоминаниями о дружбе своей родительницы и Кондратьевой, помог дочери последней освободиться из строительного батальона. Случилось это позднее, уже после судилища над Марфой Ивановной...

Деревенские активисты беспощадно и рьяно проводили на селе политику центра, неуклонно втягивая в сферу своего влияния широкие слои крестьянской общины. Их фанатизм был тем первоначальным капиталом, который со временем сформировал новый класс властителей русской деревни. «Красные помещики» заложили и новые нравственные приоритеты в мировоззрении колхозников, основанные на советской мифологии, не принеся, однако, тем ни душевного мира, ни материального достатка.

\* См.: Приложение. Письмо № 2.

Покинув зубцовские пределы, воронок уже через полчаса миновал главную улицу районного центра, до сих пор – по прошествии 60 лет – носящую звучное, фантазмагорическое для русского уха, имя Третьего Интернационала<sup>120</sup>, нырнул в переулок и остановился у глухих ворот, за которыми темнел приземистый силуэт Ногинской тюрьмы. Еще через несколько минут медленно открывшиеся створки ворот проглотили и машину, и привезенных в ней людей. ГУЛАГ втянул в свое жерло еще одну крестьянскую судьбу. В эту же ночь (а может быть, и на следующий день – внутренний распорядок закрытого учреждения не отражен в документах дела) тюремщики произвели над Марфой Кондратьевой ряд мелочных и дотошных манипуляций, куда входили и медицинский осмотр, и подробное описание ее внешности, внесенное в «Анкету арестованного», – рост, фигура, длина шеи, особые приметы, и фотографирование, и снятие отпечатков пальцев, и угрюмая отметка, что арестованная «числится за помощником оперуполномоченного Ногинского р/о УНКВД МО Платовым», – все эти неперемные составляющие обряда инвентаризации, производимого привратниками земного ада над его будущими обитателями.

Для ответственных работников районного отделения госбезопасности дело Кондратьевой было яснее ясного. Если, как следует из таинственных отметок на титульном листе дела, первые сигналы (оставшиеся нам неизвестными)<sup>121</sup> о ее «преступном» поведении получены прокуратурой еще в июле 1941 года, то официальная часть следствия закончена в *три дня*. Все показания свидетелей (конечно, обвинительные), официальная характеристика из сельсовета взяты *до ареста* Марфы

Ивановны. (Значит, деревенский партхозактив знал о том, что ее ждет. Встречали на улице, здоровались, может быть, шептались об этом со своими благоверными, но жертву не предупредили.) 7 и 8 декабря ее допросили, предъявив обвинение лишь на вторые сутки задержания, и тогда же следователь вынес постановление об окончании расследования. Уже 9 декабря начальник Ногинского отделения НКВД утвердил обвинительное заключение. По сути, в тот же день можно было и проштамповать судебное решение.

Маховик карательной машины крутится не для того, чтобы, быстро вынеся приговор жертве, остановить свои шестеренки, но чтобы работа механизма не прекращалась ни на минуту, обеспечивая зарплатой и высоким статусом обслуживающий персонал.

Не для того декабрьской ночью 1941 года в избу крестьянки нагрянула орава здоровых, физически крепких мужиков, чтобы, произведя обыск и перерыв все вверх дном, ретироваться восвояси, а для того, чтобы оправдать собственное благополучное существование в тылу. Даже самая захудалая канцелярская крыса в следственно-судебном ведомстве должна быть занята в священном деле по изобличению врагов государства и партии. Майор госбезопасности Журавлев, возглавлявший Управление НКВД по Московской области; военный прокурор Ногинска Голубниченко; начальник Ногинского районного отделения УНКВД старший лейтенант (опять же госбезопасности) Логинов; его подчиненный, младший лейтенант «органов» Перов; начальник Ногинской тюрьмы УНКВД № 10, лейтенант все той же госбезопасности Шаров; начальник канцелярии сержант госбезопасности Греков; секретарь тюрьмы (и такую должность изобрели «человековеды» с Лубянки) Гомжина<sup>122</sup>; члены Ногинского трибунала Московского военного округа заодно с

его секретаршей Вашенцевой и еще множество других безымянных «патриотов»<sup>123</sup> участвовало в изобличении преступной сущности Марфы, в надежной изоляции ее от общества, тем самым внося свой вклад в победу над немецко-фашистским врагом. И этот их ратный труд заведомо был весомей крови, пролитой на полях войны Иваном Кондратьевым. И той, что вскоре прольют его брат и сестра – Николай (уже призванный в Красную Армию) и Мария. Поэтому пощады их матери ждать было неоткуда.

Кроме обличительных слов Марфы в адрес местных самодуров, для беспристрастного взгляда не содержащих в себе ничего от политики, у следствия не имелось доказательств ее антисоветской деятельности. Но она принадлежала к «неправильному» человеческому материалу, к обреченному на уничтожение сословию церковников, и уже только поэтому любой наклеп здесь получал оправдание. Следователь Платов не утруждал себя изобретением какой-либо логической связи между эпизодами обвинения. Протоколы допросов составлялись с одной целью: показать облик «не нашего» человека. С первого же вопроса, предложенного обвиняемой, выясняется, что уже в главном документе советского гражданина – паспорте – у нее не сходятся концы с концами. В деревне слывет Марфой, а в паспорте записана Марией.

Еще Салтыков-Щедрин высмеивал бюрократов, для которых бумага важнее человека. В советскую эпоху этот помпадурский принцип был доведен до абсурда. «Бумага или ее отсутствие, – констатирует бытописатель колхозных реалий, – могли отправить на Соловки, убить, уморить голодом»<sup>124</sup>. Несовпадение анкетных данных с действительными фактами биографии трактовалось чиновниками как проступок перед государством, которое было введено в заблуждение злоумышленником.

«Вы следствию показали, – спрашивал следователь, – что ваше имя Марфа, а в вашем паспорте поставлено имя Мария, расскажите, почему так получилось и где правильно проставлено ваше имя?»<sup>125</sup>

Подозрительность чиновника из «органов» наталкивается на бесхитростные объяснения крестьянки, привыкшей полагаться на здравый смысл и считаться с правдой жизни.

«Во время получения мною паспорта... – показала обвиняемая, – в октябре 1936 г., в моем паспорте написали не мое имя, вместо правильного имени Марфы написали имя Мария. Получив паспорт, я не посмотрела и так с ним ушла домой, в деревню Зубцово.

Когда уже дома стали просматривать мы паспорт, то увидели, что мое имя записано неверно. Тогда на другой день или через неделю, точно не помню, мой муж Кондратьев Степан Кузьмич ходил в г. Ногинск и заходил с моим паспортом в Ногинский райотдел милиции и просил исправить мне в паспорте имя. В милиции, как он мне говорил, ему ответили, что исправлять сейчас некогда, пусть живет с этим пока. Так я и оставила паспорт с именем Марии, а не Марфы. Во всех остальных моих документах: метрической выписке и разных справках, да и на селе меня зовут Марфа. Правильно будет Марфа Ивановна Кондратьева».

**«Вопрос:** Почему вы, зная об ошибке, допущенной в документе, официально не заявили в органы даже в то время, когда вы продляли срок действия вашего удостоверения личности?

**Ответ:** Официально я никому не заявляла о неправильно записанном мне имени, потому что в деревне Зубцово и в Боровковском с/совете знают, что меня зовут не Мария, а Марфа. Уезжать я никуда не собиралась... а поэтому мне паспорт никогда и не требовал-

ся. Я его как положила дома, вместе с другими документами, так он и лежал. Во время [продления] срока действия паспорта в Ногинский райотдел милиции ходила моя старшая дочь Кондратьева Ольга Степановна, я ей ничего не сказала о своем имени и ошибке в паспорте, не придавая этому большого значения, а она, наверное, и не посмотрела, так и осталось, как было написано»<sup>126</sup>.

Особое внимание следователя привлекли изъятые при обыске вещи: детекторной приемник ДВ-5 и наушники к нему, а также церковные предметы «в количестве 20 штук». Наличие на чердаке дома неисправного радиоприемника изобличало в обвиняемой незаконнослушного гражданина<sup>127</sup>. Помощник оперуполномоченного сурово спрашивал:

«Вам известно было о постановлении Правительства об изъятии радиоприемников у населения на военное время?

**Ответ:** О таком постановлении Правительства об изъятии радиоприемников у населения на военное время я не знала, а мой муж, получая газеты, мне ничего не говорил, что обязательно сдать нужно радиоприемник. Мне было не до этого, у меня семья, и слушать радио я никогда не слушала.

**Вопрос:** Почему ни вы, ни члены вашей семьи, даже работая на производстве и зная о таком постановлении, не сдали радиоприемник в ближайшее почтовое отделение?

**Ответ:** Я о таком постановлении не знала, а почему не сдали члены нашей семьи, я не знаю. Приемник принес и занимался им меньшей сын Сергей. Вообще от приемника я отказываюсь, потому что я была занята семейными делами и радио никогда не слушала»<sup>128</sup>.

Обнаруженная за печкой в избе Кондратьевых церковная утварь, по мнению «органов», являлась красноречивым указанием на корыстные мотивы в религиозной деятельности подследственной. Платов недаром подчеркивает, что изъятые церковные предметы «серебряные» (хотя в храмах к тому времени изделий из драгоценных металлов не осталось), подводя свою подопечную под нарушение одной из статей Постановления ВЦИК от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях», гласившей:

«При ликвидации молитвенного здания... все предметы из... серебра... подлежат зачислению в государственный фонд...»<sup>129</sup>.

Между тем Новосергиевский храм в 1936 году был закрыт ретивым местным начальством, официально продолжая в отчетах числиться действующим<sup>130</sup>. Жалобы на подобную, широко распространенную в районах, практику раздавались даже из недр хозяйственного отдела ОГПУ, сетовавшего на то, что он в результате не получает возможности смывать золото с иконостасов (то есть не имеет доступа к официальному разграблению церковного имущества): «церковь формально считается не закрытой»<sup>131</sup>. Так что «разоблачения» не вышло. Марфа с обезоруживающей искренностью описывает, как пыталась спасти церковное достояние от разграбления вопреки обстановке хаоса и беззакония, созданной по воле властей.

**«Вопрос:** Для чего вы перенесли себе в дом серебряные вещи из Н.-Сергиевской церкви и в течение 5 лет их храните, как то: крест<sup>132</sup>, тарелки, чашу и другие?

**Ответ:** Церковные вещи я перенесла из церкви домой потому, что я, будучи председателем церковного совета и церковным старостой Н.-Сергиевской церкви, боялась оставить их в церкви, как бы их там не укра-

ли, так как там были случаи кражи ограды, ломки дверей и воровства. Ключи от церкви и до сих пор находятся у меня, так как председатель Боровковского сельсовета отказался их принять. Сдать эти вещи хотя бы в фонд обороны без разрешения церковного совета я не считала нужным. Собрать собрание церковного совета я не решалась без получения на то разрешения, а разрешения на созыв собрания за время войны также ни у кого не просила. Так и лежали убранными эти вещи у меня на дому в деревне Зубцово»<sup>133</sup>.

Получить разрешение на созыв церковного совета было практически невозможно: на сей счет существовали строгие предписания со стороны центральной власти. Инструкции предписывали обращаться за этим в административный отдел РИКов, для чего деревенским жителям надо было отправляться в город, долго обивать там начальственные пороги и в результате получить грубый отказ (если и вовсе не попасть под арест). Потому-то Марфа, не спрашивая ни у кого дозволения, сберегала то, что ей было под силу, поступала так, как велела совесть. (После ее ареста церковь разграбили и разрушили до такой степени, что до сих пор, по прошествии полувека, внешний вид новосергиевского храма производит удручающее впечатление. Из священнических риз сельские жители чепчаки\*, камни, выломанные из ограды и стен храма, шли на сооружение сараев и других хозяйственных строений. Старинные мраморные памятники на погосте у церкви разрушили. А само место молитв на полвека превратилось в своего рода общественный туалет, в «логово

---

\* Вид летнего головного убора, похожего на тубетейку, который в тридцатые годы XX столетия был моден среди молодежи, в частности пионеров (М. С. Чельшева).

разбойников», куда со всего околотка собирались пропойцы для пьянки и разгула.)

Любопытны повадки властей. Служить в храме, им пользоваться и его обустраивать они верующим не разрешали, ключи от него принимать отказывались, но в грабеже, которым занималась часть населения, возвращенная ими же, обвиняла старосту, пытавшуюся уберечь церковь от воров.

Сергей Кондратьев: «Уже после ареста мамы сельсовет постоянно донимал нас угрозами. В новосергиевский храм беспрерывно лазили воры, ломали там все и тащили, что попадалось под руку. А все претензии были к нам. Ключи-то у нас вроде находились. К тому времени я уже в колхозе вкалывал и стал понимать что к чему. В итоге я говорю папане: “Отец, иди в сельсовет и ключи оставь там. Раз они не берут их, то ты просто положи на стол и уходи”. Так он и сделал, пошел и оставил. Больше из-за этих ключей к нам не придирались».

## 30

Нельзя было следователю не подчеркнуть связи обвиняемой с другими прихожанами, намекая в перспективе на существование контрреволюционной организации, вырастающей, по логике чекистов, из общения верующих друг с другом.

«**Вопрос:** С кем из членов церковного совета вы поддерживаете связь по своей работе для церкви?»

**Ответ:** До последнего времени я поддерживала связь по совместной работе, как член церковного совета, с Чураковым Филиппом Дмитриевичем – членом церковного совета из Боровково и Тереховым Василием

Яковлевичем – также членом церковного совета из деревни Щекавцево»<sup>134</sup>.

Так как вина Кондратьевой не просматривается ни в ее деяниях, ни даже в доносах на нее колхозных активистов, то следователь, завершая исследование обстоятельств мифического «дела», прибегает к излюбленному приему последователей Дзержинского: обвиняемый сам должен измыслить свое несуществующее преступление.

«**Вопрос:** В чем же вы признаете себя виновной по случаю вашего ареста?»

**Ответ:** Виновной я себя не считаю, никаких враждебных настроений я не высказывала и антисоветской агитации среди населения не вела. Прихода немцев я также не ждала, а вещи из церкви хранила, потому что мне было поручено церковным советом»<sup>135</sup>.

Когда обвинение рассыпается, остается пользоваться оговорами лжесвидетелей и их домислами, своего рода штампами, клеймящими арестованного. Таким штампом стало настойчивое проведение через все анкеты, свидетельские показания и официальные бумаги утверждения о том, что Кондратьева – тунеядка. (Надо помнить, что советский «новояз» подразумевал прямую связь между религиозностью и отлыниванием от «общественно полезного труда».)

## 31

Молятся только бездельники – через бойницу этого хлесткого партийного лозунга местные руководители взирали на верующих сограждан. Казалось бы, колхозники, отказавшиеся от единоличного хозяйствования, уже, по определению, не могут являться кулаками. Но и

следователь Платов, и его сподручные, словно гончие, взявшие верный след, упорно возвращались к теме отлынивающей от работы Марфы.

«В настоящее время, – читаем в следственных анкетах, во множестве сопровождавших Марфу по кругам тюремных мытарств, – она колхозница, но в колхозе не работает».

Уже в предвоенное время подобное определение было формулировкой, разоблачавшей *скрытого* кулака. Еще десять лет назад в постановлении Политбюро «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»<sup>136</sup>, явившемся важной вехой советской «перековки» крестьянства, кулаки подразделялись на три условных разряда. Описание категорий лиц, подлежащих репрессиям, было нарочито расплывчатым. Делалось это для того, чтобы в последующем иметь неограниченные возможности для обвинения в преступлении любого человека.

Агитпроп изготовил массу неюридических словесных определений врагов советской власти на селе (но ведь и раскулачивание было внесудебной формой преследований). К этому надо прибавить и обширную иконографию кулаков в советской печати, наглядно указывающую на их характерные приметы. По задворкам Родины крадется упитанный, хитрый мужичок, озирающийся по сторонам и выпускающий «красного петуха» на социалистическое гумно.

Изощренно и одновременно топорно сплеталась государством и обществом та сеть, которой «органы» и их добровольные помощники волокли жертвы в волчью яму неволи, а часто и физической гибели.

Весь процесс изобличения врага, включавший в себя неперенный донос (а доносчиком мог быть сосед, собрат, знакомый), арест, соучастие сторон – палача и

жертвы – в составлении следственных бумаг, пытку тюрьмой и неправый суд, оказывался в каком-то смысле игрой в слова. Палачи доказывали жертве – но прежде всего себе и обществу, оставшемуся на «свободе», – ее социальную и классовую порочность. За бесстрастными юридическими терминами приговора угадывалось еще и обвинение узника в неполноценности – пусть не расовой, но идеологической (здесь сходятся идейные близнецы: коммунизм и фашизм).

Преследуемые сами часто терялись в смысловом, юридическом и идейном поле, созданном вокруг них. Подросток Иван Твардовский в составе раскулаченной семьи попал в сибирскую ссылку. От истощения и тифа ссыльные, включая стариков и младенцев, постоянно умирали. Но его брат, знаменитый поэт, присылает из столицы письмо, в котором сообщает близким: «Ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей и тем более – детей». Чему же верить? Собственным глазам и опыту или идейно правильному взгляду близкого человека?<sup>137</sup>

Законопослушные, покорные судьбе граждане, какими были в подавляющем большинстве раскулаченные, хотели бы верить государственной пропаганде, изображавшей отвратительных вредителей. Но «вредителями» оказались они сами. Это и удерживало их в границах реальности, уберегая от участия в массовой истерии и помогая им сохранять человеческое достоинство. Иван Трифонович вспоминал свои тогдашние недоумения и ход рассуждений: «Я хорошо понимал, что кулак – прежде всего эксплуататор, владелец обширного хозяйства, где... не знают нужды... Подавляющее большинство из спецпереселенцев было из крестьян-хлеборобов и никоим образом не походило на рисованных хищников-эксплуататоров. Их заскорузлые от извечного труда руки...



13

утверждали совсем другое: постоянную заботу о куске хлеба. Они и в ссылке были готовы на любую работу, лишь бы выжить»<sup>138</sup>.

В следственных бумагах 1930–1940 годов слова «Государство», «Государственная Безопасность» пишутся всегда с большой буквы. Согласно коммунистической доктрине тех лет, население страны должно быть организовано в трудовые армии, направляемые на стройку своего будущего «счастья». Простые люди, рядовые этих подразделений, должны отдавать все силы, все свое время для укрепления мощи Государства. Семья, личная жизнь, дети, свое хозяйство должны быть принесены в жертву на алтарь социалистического отечества<sup>139</sup>. 27 мая 1939 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издают постановление под благовидным, но таящим в

себе угрозу названием: «О мерах охраны общественных земель колхозов от расхищения». Согласно новому закону, «трудоспособные» колхозники, не выработавшие обязательного минимума трудодней, подлежали административному наказанию.

Через несколько лет, в разгар Отечественной войны, слишком «мягкое» законодательство ужесточат, за те же «деяния» введут уголовные санкции, которыми государство будет пользоваться в полной мере<sup>140</sup>. До этого же виновным грозило «всего лишь» исключение из колхозов (или принудительный бесплатный труд по месту работы). Большевистские чиновники приучали общество к духовным ценностям рабовладельческой эпохи. Если имярек главную цель видит в перевыполнении производственных норм, значит, он поклоняется Державе, боится ее и достоин звания «ударника», «стахановца», то есть советского человека. Если имярек заботится о ком-то или о чем-то больше, чем об интересах родины, значит, как когда-то считали в древней Спарте, он преступник. Разжигая в народе комплекс вины перед Коллективом (всегда организованным Партией), чьи жесткие крепостнические законы выполнить невозможно в принципе, кремлевские идеологи поощряли общество к доносительству, а своим ставленникам демонстрировали, какой «человеческий материал» подлежит выкорчевыванию.

Индустриализация страны, укрепление ее обороны, по мнению вождей, не могли обойтись без очередного усиления дисциплины и карательных мер в отношении «индивидуалистов», приверженных мелкособственническим интересам. Для государственных мужей, как и для простых, но «сознательных» граждан, Марфа с ее советливостью и душевной тонкостью была типичным представителем отжившего прошлого. Интересы «Безопасности» требовали уничтожения невинного...

Следуя исторической правде, автор считает необходимым процитировать те несуразные обвинения, что выдвигались от лица «Государства» мучителями Марфы Ивановны.

**Жданов:** «Кондратьеву... я знаю уже давно, как приехала она из Боровково в деревню Зубцово. Она сейчас... состоит членом колхоза, а все время не работает». «Раньше она была церковным старостой, сначала Новосергиевской, позднее Стромьинской церкви. Сейчас нигде не работает»<sup>141</sup>.

**Серов:** «В настоящий момент состоит членом колхоза, а в колхозе не работает»<sup>142</sup>.

**Архиреев:** «Кондратьеву... я знаю давно... Она состоит членом колхоза, но работала все годы очень мало и к работе в колхозе относится враждебно»<sup>143</sup>.

Желая подчеркнуть «объективность» показаний председателя колхоза, следователь во время допроса задает ему наводящий вопрос.

– Были ли у вас с Кондратьевой личные споры и скандалы?

**«Ответ:** Скандалов с Кондратьевой было очень много у меня, и все они были по колхозным делам, она не выходила на работу, а мы требовали ее работы в колхозе»<sup>144</sup>.

Главным козырем следствия, подтверждающим антисоветскую деятельность Марфы, стала демонстрация ее «пораженческих» настроений. Для этого в доносах имелось множество сколь ярких, столь и фантастических примеров.

**Серов:** «Во время проведения работы по остолблению она 3 ноября мне лично заявляла в правлении колхоза: “Это вы делаете все напрасно, немец прилетит, все разбомбит, ничего не останется. Вы этой работой только мучаете людей...”»

Через людей мне также известно, что Кондратьева Марфа говорила Тереховой Анне Тимофеевне в Боровковском магазине, во время эвакуации скота: “Вот видишь, весь скот угоняют, а его не надо было угонять, взяли бы да раздали по колхозникам и делу конец и т. д.” Она много еще говорила, но меня стесняется, боится. Антисоветски она настроена давно, но я всех выступлений ее не помню»<sup>145</sup>.

Постарался угодить «органам» и Боровковский сельсовет, аттестовав Марфу антиобщественным элементом и законченным врагом народа.

#### **«Характеристика**

...На гражданку д. Зубцово Кондратьеву Марфу Ивановну 1891 года рождения, уроженку д. Боровково из семьи крестьянина середняка. Сама Кондратьева Марфа Ивановна до 1917 года торговала вином. После революции Кондратьева М. И. вышла замуж в д. Зубцово. Она все время занималась продажей цветов, с 1932 года Кондратьева работала церковным старостой Новосергиевской церкви, имела тесную связь с бывшим дьяконом Добровым М. И.<sup>146</sup>, который в 1933 г. взят органами НКВД. За время работы в Новосергиевской церкви Кондратьева торговала [лампадным] маслом, свечами и друг. После закрытия церкви Кондратьева перебралась по своей профессии в Стромьинскую церковь и там среди верующих организовывала разные молебствия и т. д. Из Новосергиевской церкви Кондратьева все ценное имущество присвоила себе<sup>147</sup>.

...В 1935 году хозяйство Кондратьевой вступило в члены зубцовского колхоза, но сама она в работе колхоза не участвовала. Кроме этого, Кондратьева и в настоящее время проводит работу среди отстающего населения за открытие церкви и сама настроена

антисоветски и ждет переворота советского строя при настоящей войне с Германией. Что и удостоверяет Боровковский с/совет. Председатель с/совета»<sup>148</sup>.

В результате молниеносного следствия начальника Ногинского отделения НКВД Логинов 9 декабря – через три дня после ареста Марфы – утвердил «Обвинительное заключение».

## 32

**Из «Обвинительного заключения»:**

«В Ногинский Р/О УНКВД МО поступили сведения, что Кондратьева Марфа Ивановна среди окружающих лиц проводит антисоветскую агитацию.

На основании этого 6 декабря 1941 года Кондратьева Марфа Ивановна была арестована.

Произведенным по делу расследованием УСТАНОВЛЕНО:

что Кондратьева Марфа Ивановна, будучи антисоветски настроенной среди окружающих ее лиц, высказывала клевету по отношению коммунистов и руководителей Советской власти, вела агитацию за открытие церкви (см. л. д. 14–16).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, Кондратьева виновной в предъявленном ей обвинении не признала, но изобличается показаниями свидетелей Жданова Н. И. (л. д. 13–14), Серова М. С. (см. л. д. 15–16), Архиреева (см. л. д. 17–18).

**НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ОБВИНЯЕТСЯ:**

Кондратьева Марфа Ивановна, 1891 года рождения, уроженка дер. Боровково Ногинского р-на Московской области, колхозница, но в колхозе не работала,

беспартийная, русская, гражданка СССР, до ареста являлась председателем церковного совета и старостой Н.-Сергиевской церкви, проживающая в дер. Зубцово Ногинского р-на Московской обл., в том, что, будучи активной церковницей и враждебно настроенной против Советской власти, проводила антисоветскую агитацию среди населения, распространяла клевету по отношению коммунистов и руководителей Советской власти, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10, ч. II УК РСФСР.

**ПОСТАНОВИЛ :**

Следственное дело по обвинению Кондратьевой Марфы Ивановны считать законченным и в соответствии со ст. 208 УПК РСФСР через Военного прокурора направить на рассмотрение Военного Трибунала с одновременным перечислением за ним обвиняемой»<sup>149</sup>.

## 33

16 декабря «Обвинительное заключение» утверждает военный прокурор Ногинска Голубниченко; с этого числа до дня суда над Марфой члены Военного трибунала и его рядовые сотрудники получали свою зарплату, в частности, и за то, что папка с ее делом некоторое время лежала у них на рабочих столах.

В том, что дело липовое, они отдавали себе отчет. Следователь Платов даже сознательно намекнул Ольге Кондратьевой на настоящую причину ареста матери, кроющуюся в доносах на нее. Что побудило его к мимолетной откровенности? Простоватость ошарашенной горем деревенской девушки, с которой можно особенно не лицедействовать? Желание расположить к себе дочь

«врага народа» и попытаться выудить дополнительные сведения? Ольга Степановна вспоминает, как 8 декабря, в последний день следствия, она приехала в райцентр узнать о судьбе мамы. На улице III Интернационала в старинном здании бывших Присутственных мест, построенном в стиле классицизма и некогда олицетворявшем торжество справедливости, ей сказали, что нужно подняться на второй этаж, к следователю Платову.

«Поднялась. Он и говорит: “Она будет судиться по 58 статье, 10”. Я спрашиваю: “За что?” А он: “Вы на суде узнаете”. Я говорю: “А кто сделал? Что это? Написали на нее что или чего?” А он отвечает: “А они будут на суде”. Кто написал, тот будет на суде. Я говорю: “За что больше ее будут судить?” – “За религию”. Я говорю: “За какую?” – “Вот видите, она все призывала людей, что Богу нужно молиться, раз идет война...”»<sup>150</sup>

«Я не помню, – продолжает Ольга Степановна, – как оттуда вышла на улицу. Стою и не чувствую под собой ног. Жду. Приехали в город мы вдвоем с сестрой Машей и с собой взяли петуха, думали – продадим: ведь ничего не было у нас, чтоб снести-то передачу маме. Маша там еще с этим петухом, на базаре... Стою, жду ее. Вдруг выходит Платов, садится в машину и ко мне обращается: “Мне нужно с вами поговорить. Я еду в Боровково и могу вас подвезти”. Я говорю: “Я не могу с вами ехать после всего, что вы сделали с мамой”. Машина ушла. А я, правда, едва не побежала за ней. Может быть, он хотел мне что-то посоветовать, как лучше сделать, чтоб матери подсобить?»

Это чувство горечи от упущенной возможности поддержать родного человека до сих пор не покидает Ольгу Степановну. Но она напрасно переживает. Оперуполномоченный Платов если и мог предложить девушке свою помощь, то только одного рода: в превращении ее в осведомителя.

Марфу «вела» бригада из нескольких следователей – надо же было как-то обрабатывать служилым мужикам свое тыловое счастье, таким образом, хотя бы и на «невидимом фронте», защищая Родину. И вот счастливый случай: Ольга Кондратьева вдруг узнает, что с женой одного из оперчекистов (фамилия ее была Чаусова) работала когда-то на 12-м заводе в Электростали. «Хотелось мне любым путем узнать, что с мамой там, в тюрьме, хотелось проникнуть к кому-нибудь и похлопотать за нее. И я решила идти к ним домой. Будь что будет!»

Но когда изумленный чекист уразумел, что его просят за «врага народа», он не стал с Ольгой разговаривать и выгнал ее.

Прошло почти четверть века с того дня, когда он выставил за дверь двадцатилетнюю, дрожавшую от нервного напряжения, девушку. И вот в дверь уже служебного кабинета Ольги (а она, со своими пятью классами и испорченной для отдела кадров биографией, выбилась в заведующие хлебным магазином, расположенным на той же улице III Интернационала) постучал пожилой мужчина с испытанным лицом и в измятой одежде. С удивлением она узнала в вошедшем одного из бывших следователей по делу своей матери. Уволенный из «органов», брошенный женой, спившийся, он просил об устройстве на работу в качестве подсобного рабочего. Ольга вспомнила, с каким высокомерным презрением он выталкивал ее из комнаты в зимний вечер, в темноту. И она не колеблясь отказала ему.

## 34

Улица III Интернационала, названная в честь международного объединения коммунистов, ставившего своей



14

задачей организацию мировой революции, была главной городской артерией. Четверть века назад, с точки зрения богородских обывателей, она называлась милее для слуха – Большой Московской. Хотя в не столь давние времена через Московскую проходил знаменитый Владимирский тракт, по которому каторжников этапировали в Сибирь, в начале двадцатого столетия она представляла собой для горожан витрину цивилизации. В одно- и двухэтажных зданиях, тесно стоявших вдоль проспекта, располагались гостиница, банк, городское училище (в середине девятнадцатого века в нем преподавал известный религиозный философ-утопист Николай Федоров), престижные магазины, полные товаров, парикмахерские салоны и модная аптека, синематограф и телеграф. Центральную часть улицы занимали административные учреждения, важнейшим из которых были Присутственные места, олицетворявшие собой на уездном уровне государственную власть. Сразу за этим

правительственным зданием, несколько в глубине (собственно уже в переулке, пересекающем Московскую улицу), стояла городская тюрьма, огороженная каменным забором.

В начале XX века среди местных чиновников насчитывалось немало просвещенных людей с широкими культурными интересами. В городе действовал целый ряд благотворительных организаций, в частности попечительский комитет, заботившийся о заключенных.

В 1941 году в помещении бывших Присутственных мест размещались прокуратура, НКВД и администрация тюрьмы. Возле парадной двери на улицу выходило окошко, куда родственники арестованных передавали вещи и продукты.

Рядом со столь весомыми учреждениями, разместившимися под одной крышей, стоял двухэтажный дом под номером 73, до революции принадлежавший фешенебельной гостинице. В описываемое время часть здания отдали в комжилхоз, под квартиры жильцов. Попасть в них можно было только со двора, куда с улицы вела подворотня. Поднявшись на второй этаж, вы оказывались перед двумя дверями, за одной из которых скрывался гам переполненных семейными склоками коммунальных лабиринтов, а на другой висела скромная табличка с многозначительной надписью: «Особый отдел». Сюда армейские особы вели на допросы военнопленных и прочий арестованный люд, иногда беспризорных детей, наводнявших город<sup>151</sup>. Бесхитростные реалии провинциальной советской жизни, где мирные обыватели прогуливались рядом с пыточным застенком. В первый год войны гнетущим тревожным фоном этой своеобразной идиллии служил бесконечный поток машин с беженцами, днем и ночью двигавшимися на восток<sup>152</sup>.

Неизменный порядок в Ногинском районе, как и во всей стране, поддерживался только благодаря работе органов, партийных и карательных. Если бы внезапно вожди ВКП(б) и их помощники в мундирах с голубыми и малиновыми петлицами в одночасье исчезли с лица земли, то жизнь в стране замерла бы. Такую мысль подспудно внушали населению «солдаты пера», писатели и журналисты. Во множестве стихотворных и прозаических произведений описывалось окно в кремлевском кабинете с не гаснущим в ночи светом, за которым трудился Вождь, не забывающий ни об одном из своих подданных. В провинции начальники помельче превращали его предначертания в конкретные мероприятия и цифры отчетов. Народ должно охватить крепкой цепью регламентированных мелочей, и все, что выбивается из этого ряда, подлежит уничтожению, как мешающее достижению великой Цели. План «научно» предусматривал все, от мощности лампочки, которую позволялось вкручивать в туалетах и прочих местах общего пользования (не выше 16 ватт: норматив разработали Ногинские городской и районные исполнительные комитеты)<sup>153</sup>, от способа среза «верхушки клубней картофеля» (предписывал колхозникам Наркомат земледелия)<sup>154</sup> до видов общественно опасных деяний и мер по их пресечению (об этом беспокойлось известное ведомство на Лубянке)<sup>155</sup>.

Вот Тараканов (имя сего руководителя не дошло до потомков), начальник химической службы города, обращается к гражданам с призывом: «Будь готов к защите от отравляющих веществ»<sup>156</sup>. На параллельном, не менее важном, участке работы (у Плана нет незначимых деталей) эстафету лозунгов подхватывает П. Кононова, инспектор центрально-статистического учета Госплана (иными словами, специалист по «правильным» цифрам; кремлевский Вождь еще в 1925 году определил: «без

цифр ЦСУ нельзя управлять»): «Перепись скота – боевое задание партии и правительства»<sup>157</sup>.

За отклонениями от нормативов, спущенных сверху, следили в районе сразу несколько ответственных товарищей: прокурор, председатель и другие члены Военного трибунала. Эти служители пролетарского правосудия сознательно отвергали такие отжившие понятия буржуазного мира, как жалость и сострадание. Марфе суждено было на себе испытать бесстрашный ход советского делопроизводства.

В здании бывших Присутственных мест находился и кабинет городского прокурора Голубниченко, где этот военюрист второго ранга сочинял и свои статьи в местную газету, рапортуя в них о бдительности ногинских стражей Порядка. На ее страницах он требовал «строжайшего» наказания для нарушителей трудовой дисциплины, клеймил злостных неплательщиков налогов (госпоставок) из числа несознательных колхозников; по его представлению Военный трибунал вынес не один расстрельный приговор<sup>158</sup>. Благотворительные (тюремные и прочие) комитеты давно исчезли с лица Русской земли, да и само российское общество перестало иметь собственное мнение, слившись с толпой.